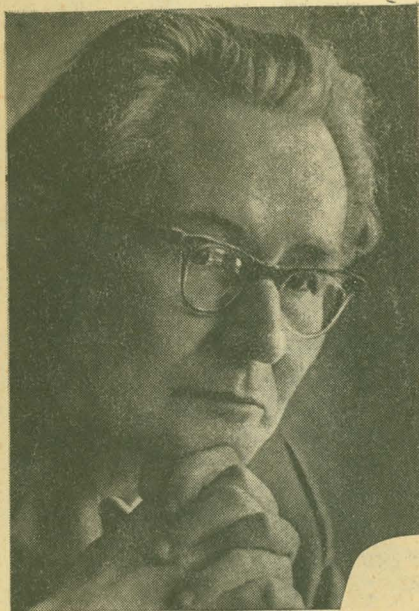


0-38
312 064

ОГНИ КУЗБАССА

72 п 4





Ольхон и Казимир
Малышевский, соби
сильевна Красноже
судеб.

Автор рассказов
связан с ними бол
характеров, атмосф
ставляет его понят
людей.

Читатели и товар
вича Срывцева с е
новых отличных про

Анатолию Николаевичу Срывцеву исполнилось
60 лет.

Родился писатель на Орловщине. Юность его
прошла на Украине, где сорок лет назад и со
стоялось его первое литературное крещение: им
был написан текст героической оратории «Песни
каторги и ссылки», поставленной на сцене Киев
ского театра Красной Армии. Но писателя из
Анатолия Николаевича сделала Сибирь. Приехав
в 1935 году в этот суровый и благодатный край,
он сроднился с ним, с его людьми. Здесь при
шла к нему творческая зрелость. Здесь он на
шел своих героев. Язык сибиряков, точный, об
разный, емкий, стал языком писателя.

Корреспондент областных и центральных га
зет, Анатолий Николаевич Срывцев побывал во
многих уголках земли Сибирской. Его очерки,
рассказы, литературные портреты печатались в
«Гудке», «Известиях», журналах «Сибирские ог
ни», «Советская Украина», «Нева», в альманахах
«Енисей», «Новая Сибирь», «Ангара» и других
печатных органах.

В разные годы в Кемеровском книжном из
дательстве А. Н. Срыв
ление о его
ига расска-

Анатолий
бург Павел
Мария Ва
сложных

ими, но и
понимания
ателя, за
ественных

Николае
дрости и

НИГАРЕВА

312064

Год издания 24-й

№ 4, 1972

ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН
КЕМЕРОВСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР



390310

КЕМЕРОВСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

В номере

Стихи, проза

Из шорского фольклора. Стихи. Перевод Геннадия Сысолятина	3
Курман Дугужев. Старый горец. Горец-горожанин. Стихи. Перевод с дагестанского В. Баянова	4
Георгий Кошкин. Сеспель. Стихотворение. Перевод с чувашского М. Небогатова	5
Душан Файзи. Карандаш. Абдулла Нуримов. Девушке-казашке. Перевод с узбекского В. Качаева	5
Виктор Моисеев. Ярыгин камень. Повесть	7
Валентин Махалов. Онега. «Зимний кижуч идет...». «По лукавой тропинке...». Стихи	65

Время — человек — время

М. Рыжков. Самсоныч.	67
----------------------	----

Проблема?... Да, проблема!

Н. Спирина. Преданность заводу. Откуда она?	74
М. Г. Елькин. Четверть века с юными историками.	79

Прошел... увидел... рассказал...

Гарий Немченко. Маленький рябчик. Жадюга.	85
---	----

(Продолжение на обороте)

Редактор
В. М. МАЗАЕВ

Редакционная
коллегия

А. Ф. Абрамович,
Е. С. Буравлев,
А. Н. Волошин,
Г. А. Емельянов,
Н. Н. Зеленин,
В. В. Махалов,
О. П. Павловский
(отв. секретарь)

Адрес редакции: 650099
Кемерово, Советский пр., 94.
Тел. 6-85-14.

Рукописи объемом до одного печатного листа не возвращаются.

Обложка художника
Г. А. Ефремова

Ведущий редактор
Т. И. Махалова
Художественный редактор
Г. И. Кравцов
Технический редактор
Г. В. Адова
Корректор
Т. Е. Трусова

Из дальних странствий..

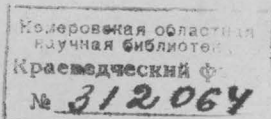
Олег Павловский. Сказка моего детства. 90

Слово — критике

А. Поликанов. Марьевская муза в рабочей спецовке. 98

Веселая минутка

Ю. Соломонов. Ох, уж этот Колготкин! 104
О. Черногуз. Почему необходимо стать болельщиком. Как прослыть интеллектуалом. Юмористические рассказы. Перевод с украинского И. Дрейцера . . . 105
Леонид Левицкий. Изошутки 111
Содержание альманаха «Огни Кузбасса» за 1972 год 113



Сдано в набор 16.VIII.1972 г. Подписано к печати 30.X.1972 г. Формат 70×90¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Усл. п. л. 8,48. Уч.-изд. л. 9,98. Тираж 5000. ОП01115. Заказ 6351.

Цена 39 коп.

Кемеровское книжное издательство
Кемерово, Ноградская, 5
Полиграфическое объединение «Томь»
Кемерово, Ноградская, 5

7-3-2

32-M72

ИЗ ШОРСКОГО ФОЛЬКЛОРА



Гриву на косички разберу коню,
Шестьдесят косичек заплету я туго.
На коне отцовском птицу догоню,
Догоню я зверя, обгоню я вьюгу.

Пятьдесят косичек в гриве заплету
Я тебе, мой серый, мой скакун любимый.
Схож ты с гнутокрылой птицей на лету,
Ты такой же легкий и неутомимый.

БЕЛЫЙ ГОГОЛЬ

Белый гоголь плывет
По речной быстрине.
Все равно посмотрю,
Хоть стрелять и не стану.
Чернокошая, нежная
Нравится мне —
Хоть смолчу о любви,
Но на девушку гляну.

Сизый гоголь плывет
Через плес голубой.
Хоть стрелять и не буду —
Найду его взглядом.
Если век не придется
Прожить с дорогой —
Все равно, хоть минутку
Побуду с ней рядом.

ОСЕНЬ

После лета осень настает,
Гонит уток в дальний перелет.
Кондому прикроет скоро лед,
И поземка песню заведет.

На меня глядишь ты из окна,
Словно осень, хмура и скучна,
И твоя улыбка холодна,
Как зимой поземки пелена.



Если в лес я пойду, неужели не срежу в пути
Гибких прутьев для верши, не встречу травы среди луга!
Если к людям пойду, разве трудно в народе найти
Сердце верного спутника, доброго нежного друга!

Воздержан будь. Своими же словами
Себя врагу не выдай с головой.
Молчание — союзник верный твой,
Иначе — чуток волк,
Да и земля — с ушами.

Перевод ГЕННАДИЯ СЫСОЛЯТИНА

Курман Дугужев

СТАРЫЙ ГОРЕЦ

В горах его гордая жизнь протекла.
Ветрами, дождями секло.
Постелью и крышею — бурка была,
Тревожной подушкой — седло.
В заоблачных высях он пас табуны
И в рог свой пастушеский дул.
И только на скачки в особые дни
Спускался в родимый аул.
Он первым всегда был в потехе мужской —
Иначе и жизнь не мила.
И думал, что силы не будет такой,
Что выбьет его из седла.

Летел на коне — не догонит стрела,
Лишь цокот и пыль по земле...
Но старость джигита легко догнала,
И он — будто не был в седле.
Старик до скалы еле-еле добрел,
Прилег, загрузив о былом.
Как будто с вершины скалистой орел
Упал с перебитым крылом.
Дымок отлетает от сморщенных губ.
И видно, быть может, не всем —
Сгорает столетний распластанный дуб,
Уже догорает совсем...

ГОРЕЦ-ГОРОЖАНИН

Я ветра знал напев былинный,
А нынче — тихо за спиной.
Конь уносил меня долиной,
А где теперь мой вороной!
Хмелел я, как от крепкой чарки,
От родникового глотка.
За мною следом, как овчарки,
В горах ходили облака.
Встречали пастухи — кормили,
Давали место у огня.

Встречали волки — злобно выли,
Так ненавидели меня.
Я звонко жил. Но поманили
Иные в жизни берега.
Они асфальтом подменили
Высокогорные луга.
Я не дружу с тоской постылой.
Но кажется мне иногда,
Что не орел я — птеник хилый,
Который выпал из гнезда.

Перевод с дагестанского
ВИКТОРА БАЯНОВА

Георгий Кошкин

СЕСПЕЛЬ

Не ушла твоя песня в могилу —
В жизни столько для песен дорог!
Звучных строк твоих нежность и силу
Вспоминает степной ветерок.

Вспоминают их красные маки,
Принесенные солнечным днем,
Те, которые даже во мраке,
Даже ночью пылают огнем...

Не мечтал ты при жизни о чуде,
О такой вот завидной судьбе:

Отовсюду хорошие люди
Приезжают, приходят к тебе.

Люди, Сеспель, тебя не забыли,
Сколько их собирается в круг!..
Вот приехал из снежной Сибири
Друг Бекшанский, твой преданный друг.

Поседел и состарился Паша.
Ты с портрета глядишь на него.
Встреча с ним — это молодость ваша,
Это дружбы людской торжество.

Перевод с чувашского
МИХ. НЕБОГАТОВА

Душан Файзи

КАРАНДАШ

Спокоен карандаш, лежащий на столе,
Мой старый друг, то мягкий, то капризный.
Пусть отдохнет: в отточенном стволе
Накопится заряд неповторимых мыслей.

Души улада и попутчик зрелых дум,
Не он ли окунался в жизнь влюбленно:
Со мной ловил карагачей зеленых шум
И шорох листьев, падающих с кленов!

Не он ли, ощутив земную красоту,
Пригубив пиалой любви и вдохновенья,
Взволнованно бежал по чистому листу,
Спеша запечатлеть прекрасное мгновенье!

Все тайны сердца моего познав,
Не он ли слушал мир, ловил поток известий!
И если гневалась любимая страна,
Он гневался со всем народом вместе.

Не он ли по ночам с отвагою большой
Писал, надламывался, вновь писал упорно!
Но никогда нигде не покривил душой,
Не лебезил и не заискивал позорно.

Любовью к жизни он всегда горел светло
И воспевал ее светло и вдохновенно.
Все, что поэту на сердце легло,
Ложилось на бумагу непременно...

Пусть черен карандаш, но чистая — душа,
Исполненная радужного света.
И потому строка карандаша —
Веленье сердца, дивный мир поэта.

Абдулла Нуримов

ДЕВУШКЕ-КАЗАШКЕ

Однажды я шел по знойной степи,
Ни дерева, ни уюта.
Хотелось пить: я сказал: «Терпи!»
Вдруг вижу: белеет юрта.

Я думал — мираж, что встречал средь пустынь,
Но вглядываюсь — шагах в ста
Из войлочной юрты выходишь ты,
Девушка-казашка.

Воды попросил — ты кумыс принесла.
Взамен ничего не спросила.
Твоя разукрашенная пиала
Была, как и ты, красива.

Дочь знойных степей, мне секрет открой:
Пиалки губами касалась!
С чего же так сладок напиток твой,
Так сладко на сердце стало!

Перевод с узбекского
ВИТАЛИЯ КАЧАЕВА

ЯРЫГИН КАМЕНЬ

ПОВЕСТЬ

Солнце еще только собиралось выкатиться из-за частокола пихт, стоящих на вершине Ярыгина камня, а Николай вместе с дедом Мефодием уже вышагивали по торной тропинке в сторону речушки Бунгарап. От вчерашних именин ломило голову. Николай проводил руками по серебристой от росы траве и на ходу тер ладонями лицо.

Дед бубнил за спиной:

— Однако ты из наших будешь.

— Как это понимать?

— Да вот так, угощением не гнушаешься.

— А что в том особенного?

— Да ничего, мясо, видать, по вкусу пришлось, уплетал за обе щеки...

Николай так резко повернулся к Мефодию, что тот от неожиданности ткнулся своей бородой прямо ему в грудь.

— Мясо я заметил — сохатина. Только и меня, дед, пойми правильно. Что же мне было — шум поднимать, людям праздник портить?

Мефодий суматошливо затараторил:

— Борони бог, я вить к тому и веду, что мужик ты понятливый, свойский.

Николай махнул рукой:

— Ни черта ты не понял.

— Не скажи, — отступил дед на шаг от Николая. — Это ведь мужики тебе

испыток делали: поймешь или нет? И я следил во все гляделки. Вижу, ешь спокойно. Думаю, стало быть, не учуял, чье мясо лопаешь. Ан ошибся, старый пенек.

Николай поправил рюкзак за спиной, перекинул из руки в руку литовку:

— Мне бы знать, какая сволочь завалила сохатого, тогда бы другой разговор получился.

Мефодий развел руки в стороны:

— Чего не ведаю, того не ведаю. Только одно скажу — не Степка. Ён у нас на масленую стрелять горазд. Как зачнет палить по деревне, бабы завсегда пужаются: думают, война зачалась.

Не только голову, но и спину поламывало у Николая.

Екатерина Тулякова расстаралась вчера от души. Стол ломился от закусок и питья. Иначе, наверное, и быть не могло. Уж кому-кому, а Катерине перед соседями грешно в грязь лицом ударить. Степан ее на трелевочнике работает, деньги приличные получает и хмельным в будни не балуется. Лишь после баньки малость принимает, ну, а когда праздник какой — свое наворачстает. Катерина же — продавец. Все товары в руках. Так что сам бог велел ей все, что повкусней да покрепче к своему дню рождения припасти.

Когда Николай огруз малость после хмельной и коварной медовухи, подсел к нему мужик, лицом знакомый. Светлый голос скатался от пота в косички, глаза водянистые, чуть навывкате. Познакомились. Только вот беда, фамилию забыл. Но чем-то въелся в память этот Иван, и вот нейдет из головы, хотя разговор с ним был пустяшный и не весь его запомнил Николай. Только, кажется, и спросил тогда Иван, каким ветром занесло его в их глухой угол. И вдруг Николай вспомнил, каким взглядом посмотрел на него в тот момент Иван. Был он у него перед этим скользким, расплывчатым, а тут вдруг стал жестким, словно два стальных бурава просверлили Николая. Пили вместе. Иван хмелел и все время бормотал:

— Я тебе, Коля, друг разлюбезный, всю тайгу покажу. Раз ты егерь, стало быть, хозяйствуй.

Вспоминая сейчас слова Ивана, он уловил в них какую-то фальшь и спросил Мефодия:

— Иван что за мужик?

— Чурилов-то? — в голосе у деда зазвучали презрительные нотки. — Пустельга.

— Не понравился он мне вчера.

— А и кому ён может нравиться. Болтать горазд, выпендриваться любитель по пьянке. Тайгу, сказать по правде, знает. Мож, мясо и им подметано, да токмо иди, докопайся.

Дед замолчал, раздумывая: говорить или нет до конца, и, махнув рукой, продолжал:

— В одном хочу упредить: в деревне человек суседом живет. Так вот, ежели ты дознаться хошь, чья свеженинка — ничего путевого не выйдет. Пойми: какой человек на суседа поклеп станет возводить?

Власть-то наша пока все к месту да по закону определит, а сосед в один миг поквитается. И прав будет, не греми боталом, как блудливая корова. Смекаешь? — и, словно пожалев о сказанном, неожиданно оборвал: — Давай, двигай помалу.

Николай шел по тропке, раздумывая об услышанном. Скрытен все же Мефодий. Скрытен и хитер. С виду усохшая коряжина, сухарь. А стиснет руку — словно капкан захлопнет. На себе испытал, когда знакомились. И шагает споро, пыхтит себе за спиной, да еще подгоняет. Или же опять с этим мясом. Сам намек дал, а откуда оно взялось — клещами не вытянешь. С другой стороны глянуть — всем хорош дед. В постояльцы принял без лишнего слов. И бабка его Настасья к нему, Николаю, как к родному сыну относится, всякими постряпушками кормит, лучший кусок мяса кладет в чашку. Дед и лошадку одолжил для работы в тайге. Недавно обещал меринка пригладеть в Атукташе. Сейчас вот ведет показать зимние переходы лосей и косуль, места, где лучше всего поставить для них стожки сена на случай бескормицы, глубоких снегов. Другой бы отмахнулся, кому охота лишний раз по тайге мотаться, а дед сразу согласился, литовкой снабдил. Только в одном упредил:

— Я помощник хреновый, себе бы управиться.

— Ты мне только места покажи, — сказал Николай, — а там и для твоей скотинки сенца припасем.

— Будя над старым измываться, — не поверил дед.

— А чего врать, сам косить буду, пока сил хватит.

— Вот это другой коленкор, — качнул головой дед и, помолчав немного, решительно рубанул воздух рукой:

— Тогда вдругорядь и я литовку возьму.

* * *

Целую неделю не было в Коврижке Михаила Бедарева: вместе с начальником участка Колышкиным и бригадиром Сафроновым объезжали сплавной участок реки. Все втроем подсчитывали, сколько леса пораскидала река полкой водой по своим берегам, прикидывали, когда лучше отправлять бригаду мулевщиков.

Мотался Михаил по реке, а Ивана Чурилова всю неделю радость распирала. И не мог он, кроме Михаила, ни с кем больше ею поделиться, потому что была она особенная. Лишь и перекинулись с Пронькой Ветровым парой слов. Тогда же на именинах подсел к нему Иван, наклонился низко над ухом:

— Твоя работа? — и ткнул вилкой в большой кус сохатины, что горой лежала на блюде.

У Проньки по лицу пробежала хитроватая улыбка:

— А тебе че, антиресно?

— У меня, Проняха, свой антирес имеется. Егерь-то, видать, того, — крутнул он жирными пальцами у своего виска, — школяр. Вишь, как лопают говядину? Ндравится...

Пронька стрельнул взглядом в сторону Николая, хихикнул:

— А ить и верно, хрумкает!

— Во-во,— кивнул Иван.— А говорит: техникум кончил, образованный.

— Такого образованного и собачинкой угости, не разберет. В городе-то, видать, наголодал, вот и лопает усе подряд.

— Твоя работа? — снова повторил свой вопрос Иван.

— Так вить Степану не откажешь. Была на примете корова с телком. Пришлось малого спроворить, а коровку до зазимка оставил. Пушай жирок нагуливает.

Они снова посмотрели, как ничего не подозревающий егерь dribбит молодыми зубами сохатину, подмигнули друг другу и сдвинули стаканы с веселой медовухой.

Ждал Иван Бедарева неспроста.

Завидовал Чурилов Михаилу и из всех сил старался завоевать его доверие. Везде, где можно, шмыгал за ним, как нитка за иголкой. Даже когда страх подкашивал ноги, вида не показывал. А в ту весну, кажется, малость просвет для Ивана в его планах проклюнулся. Случилось это, когда они с Михаилом пошли в Богдановку за водкой.

Ледоход шел на Томи, треск да грохот стоял от ломающихся о крепкую грудь Ярыгина камня льдин. Для мужиков такое время — самый отдых. На лесоповале делать нечего, машины и трелевочники стоят на приколе, а до сплава еще далеко — вода не вошла в силу, не разгулялась по всей пойме. Вот и хороводятся мужики во время ледохода каждый год. В тот раз все запасы у Екатерины Туляковой повзвистали.

И кто тогда надоумил их сбегать в Богдановку, уж и не вспомнишь. Только вдруг двинули мужики недружным гуртом на берег, а вслед за ними мальцы потянулись.

Из Коврижки река как на ладони просматривается. Большой дугой огибает ее Томь, со всего размаху бьется о Ярыгин камень, стоящий на ее пути. И, обессилев от яростной борьбы с каменным великаном, отступает, словно смирившись с поражением: течет дальше лениво, спокойно. Но спокойствие это обманное. Немало здесь хитрых водоворотов, мощных струй, идущих встреч течению.

Видели бабы из своих окошек, как сгрудились у самой кромки воды мужики, но никто не придал этому значения. Мало ли что им взбредет в голову. Бабам в мужской разговор вступать — занятие бесполезное: только лишний раз по матушке покроют.

Стоят мужики, скребут затылки смущенно. Михаил Бедарев окинул их презрительным взглядом, рванул на себе фуфайку. Только пуговицы черным горошком булькнули в лужу.

— Выпить хочется, а кишка слаба?

С этими словами он пошагал к плетню. Мужики смотрели ему вслед, молча крутили самокрутки.

Бедарева в Коврижке побаивались. Повелось это с того, что попросил он как-то мужиков помочь ему медведя из берлоги поднять. А в

тайге давно живет неписанный закон: кто нашел берлогу, тому и парадом командовать. В тот раз парад получился необычным.

Обтоптали снег перед челом берлоги, приготовились заламывать ее. Иван Чурилов уже комлистую березку вырубил, но Михаил остановил мужиков.

— Вы только, братцы, подстрахуйте меня в случае чего.

Откинул в сторону ружье, выхватил из-за голенища лосиных поршней широкий нож и, вдавив голову в плечи, полез в берлогу.

Зря думают, что медведь беспробудно дрыхнет всю зиму. Чутко спит зверь, сторожко. Просто выманить его на свет божий трудно. Знает медведь: уйдешь из берлоги — погибель. Вот и сидит крепко, копит злобу на того, кто посмел нарушить его покой.

Потому и испугались мужики, когда так неожиданно исчез в черной пасти берлоги Михаил. Еще толком и сообразить ничего не успели, как потряс тайгу дикий рев. Такой страшный, что поджали от испуга хвосты бывалые лайки. С кедров и пихт, у подножия которых устроил берлогу медведь, разом слетел снег. И тишина наступила такая тревожная, сощущая душу, что дрогнули в руках мужиков двустволки, заряженные тяжелыми жаканами и крупнокатаной картечью.

Еще широкие пихтовые лапы раскачивались, освободившись от тяжести снега, еще скользила вдоль стволов кисея. Инея, как подлетел к берлоге Иван.

— Живой, Миша?

У самого лицо перекошено, глаза застекленели. И услышали мужики глухой, булькающий голос Бедарева:

— Живой, что мне сделается.

В берлоге зашуршало, и из нее вывалился весь перепачканный закипевшей кровью, с прилипшей к одежде медвежьей шерстью, Михаил.

Обмывали удачу Михаила целую неделю всей деревней. И все время по пятам за ним ходил Иван Чурилов: ел его глазами, как преданный пес. А когда оба хмелели, обнимал Бедарева, клялся:

— Я с тобой, Миша, хошь на край света...

Прилип Иван к Бедареву. Да так прочно, что породнились даже. Когда родился у Ивана сынишка, стал Михаил для него крестным отцом, а его Аннушка — крестной.

После той памятной охоты и пошла гулять по Коврижке слава о Михаиле. И медведя он не боится, и стреляет лучше всех в деревне, и удача его стороной не обходит. Вот и сейчас кто-то предложил махнуть на ту сторону реки за водкой, Михаил сразу сказал:

— Я согласен, кто со мной пойдет?

И замолчали мужики, заскребли затылки, потому как одно дело трепаться по хмельному делу, другое — пройти по реке. Вот она, рядом гудит. Лед ломает, словно белка орешки лузгает. Только треск стоит да стон над рекой. А Михаил уже выламывал из плетня длинный шест, прикидывал половчей на руках. Он готовился прыгнуть на проплывающую рядом с берегом льдину, когда за спиной раздался знакомый, хрипловатый голос:

— Погоди, Миша, вместе пойдем.

Иван раздавил окурочку каблуком бродня, тоже шагнул к плетню. А следом потянулся Бориска Прянишников.

— Мне, мужики, страсть как промочить горло требуется. Голова трещит со вчерашнего, спасу нет никакого.

Кто-то из мальцов пробежал по улице, прокричал визгливым голосом:

— Мужики за водкой в Богдановку пошли!

Взглянули бабы на реку, обомлели. По ледяному крошеву метались три фигурки. Они отталкивались шестами от наплывающих льдин, подгребались к противоположному берегу, словно на плотках. Берег крут, течение здесь прижимное, стремительное. Под ногами у Ивана внезапно вздыбилась льдина. Вот-вот ледяная гора обрушится на его голову. Сквозь шорох и треск ледохода до женщин донесся слабый крик Ивана:

—...ша, ...моги!

Михаил поспешил на помощь. Он приблизился к барахтающемуся в черной воде Чурилову, протянул ему шест. Тот мертвой хваткой ухватился за него, отчаянно заработал ногами, поднимая фонтан брызг. Вот уж совсем близко льдина, на которой, широко расставив ноги, стоит Михаил. У мужиков и баб, следивших за этим поединком Бедарева с рекой, вырвался вздох облегчения. И никто не заметил, как в это же время исчез под водой Бориска Прянишников. Только что был, и не стало. А когда сообразили мужики, что пришла беда, уже полоскался над рекой истощенный плач его жены — Дуняши.

* * *

Участок у Николая оказался огромный. Это только на карте, которой снабдили его в управлении, можно окинуть глазом весь район. А на деле почти месяц бродит он по тайге и еще далеко не везде побывал. Много времени отняли заготовка сена для лосей. И деду Мефодию попутно накопил пару приличных стогов: хватит на корову и лошадь. Сено, правда, неважное. Трава таежная деревянистая, дуrolомь. И хотя июль стоял без дождей, подсыхала медленно. А Николай Говоров хотел покосить еще в одном удаленном уголке, где, по словам Мефодия, лосей тьма-тьмушная.

Николай побывал в том районе один раз. Горный ручей, торивший свой путь к Нижней Терси, оказался вдоль и поперек истоптанным лосями. Сколько их здесь, Николай ни у кого дознаться не мог. В управлении ему по этому поводу сказали с ноткой добродушия:

— Выпадет снежок, сам и займись подсчетом. Там ведь только браконьеры пулями им счет вели. Так они по этому поводу отчетов не составляли.

Немало подивился вопросу егеря и бригадир Илья Васильевич Сафронов. Он нахмурил иссеченный ветрами и временем черный лоб,

в усмешке оттопырил нижнюю губу с прилепившимся к ней окурком самокрутки:

— Лосями, стало быть, интересуешься? Да тебе-то от этого кой прок, зарплата прибавится? Так, я думаю, лоси — не кубометры. Тайга, брат, богатая. Я вот уж четвертый десяток с ней воюю, а ей хоть бы что, стоит себе, не убывает. Так и лоси твои: считай, не считай их, а возьмет его только удачливый. И то самую малость, чтобы зиму с мясом прожить.

Выложив все это в растяжку, не спеша, Сафронов сплюнул под ноги окурок, и показывая, что разговор о лосях пустая трата времени, смачно высморкался, утирая узловатые пальцы о замасленную мазутом штанину.

— Это что ж, по-вашему, выходит — закон не для всех одинаков?

У бригадира поползли на лоб брови, и он с укоризной качнул головой:

— Ловить на слове мастер. А ты вот на деле слови. Хошь, на спор ударим — не поймашь. Знать должен: Илья Васильевич не тот человек, чтобы с ружьишком за сохатым бегать. Ему и бригадирских забот по горло хватает. Чем со мной тут пустяковиной время переводить, лучше нашим мужикам объясни, что охотничать нельзя. Что у тебя из этого получится? Они, брат, здесь выросли, а ты с каким-то заказником лезешь. Заказывай не заказывай, а тайгу на замок не запрешь, кишка на это тонка.

И неожиданно оборвал речь, сунул растерявшемуся егерю жилистую ладонь, пробасил:

— Заболтался я с тобой, а у меня дело стоит.

Он косолапо развернулся и быстрым шагом, слегка подпрыгивая, потрусил к берегу, где с утра Сережка Пичугин возился с «зиловским» мотором, установленным на большой леспромхозовской лодке. Суденышко это в Коврижке все почему-то звали «Марусей».

Над водой уже рокотал бригадирский бас, поддавая жару Пичугину, а Говоров все еще стоял на месте, размышляя о словах Сафронова.

Иной разговор получился у него с начальником участка Петром Ивановичем Колышкиным. Встретились они в лесосеке. Николай забрел сюда, сокращая путь из обхода. Петр Иванович, привыкший за долгие годы повелевать в Богдановке и Коврижке всем и вся, с нескрываемым интересом посмотрел на егеря. Ему говорили мужики, что парень приехал после техникума. У самого Колышкина за плечами, кроме работы, почитай, ничего нет.

Он сам пошагал навстречу егерю.

— Давно слышан, — сказал Колышкин баритоном, который недавно снова прорезался у него вместо сиплого баса. Так бывает каждую весну, когда приходит пора сплава. За две недели работы в ледяной воде начисто срывает глотку. И хрип держится почти все лето. На этот раз сплав прошел спокойно, и голос вернулся быстро. Лишь временами нет-нет да прорежется хриплая нотка.

Николай видел несколько раз начальника участка мельком, и каждый раз он казался ему вконец измотанным человеком. А сегодня ничего вроде бы: спокоен, улыбчив. И у самого Николая стало легче на душе.

— С вашим братом, охотоведом,— продолжал Колышкин,— приятно встретиться. Это не с лесничими. Вот уж занудистый народ, завсегда насолить готовы.

— Это точно,— поддержал Николай,— нам делить нечего: у вас лесозаготовки, у меня — таежная живность.

— Вот и я о том же толкую. Есть хоть с кем для душевного разговора встретиться. От лесников скоро психом стану. Кедр, как сторожевые псы, караулят. Будто я только и жду, как бы поскорей до него добраться. Не поймут, что план меня на это дело толкает. В тонкоте-то когда его выполнишь?

— И у нас с вами деловые встречи будут,— сказал Николай.— Помощь мне потребуется. Бьет кто-то лесей в заказнике. У Екатерины Туляковой сам пробовал.

— Эко удивил, ведь в тайге живем!

— Так ведь заказник кругом.

Только теперь до Колышкина дошли слова егеря. И чтобы выиграть минуту на раздумье, неторопливо потянул из кармана мятую пачку «Памира», долго крутил сигарету. Лишь сделав несколько добрых затяжек, согласился:

— Это ты правильно говоришь: нельзя в заказнике зверя трогать. А наши, стало быть, к государству в карман среди бела дня с ружьишком лазят, грабят?

— Грабят! — подтвердил Николай.

— Вот те новости! А раньше не били зверя?

— Такие егеря были. Сами тайгу грабили.

Колышкин, что-то припомнив, согласно закивал головой:

— Правильно, было дело...

И замолчал, задумавшись.

— Ладно, поговорю с людьми,— пообещал он Николаю.— А поймашь кого — под суд, чтобы другим неповадно было,— и усмехнулся.— Ну и высунулся же ты некстати. Думал, хоть с тобой можно душу отвести, а не получилось: тоже норовишь лишних забот подвалить.

Огорченно качнул головой, не прощаясь, пошагал по просеке. И Николаю даже жаль стало его. Да что поделаешь — Говоров знал: Колышкин, а никто другой является здесь настоящим хозяином. Ему и быть, значит, для Николая главной опорой в борьбе с браконьерами.

* * *

Еще поискать надо было в Коврижке и Богдановке более счастливого человека, чем Дуняша Прянишникова. За Бориской как за каменной стеной жила. Был он ласковым, любящим мужем. Правда, злые языки поговаривали: не вошел, мол, мужик в силу. Вот заматерееет,

попривыкнет малость к семейной жизни, тогда и узнает Дуняша почему фунт лиха. И поревет досыта, и крепость мужниных кулаков не раз на себе испытает.

Долетели эти пересуды до Дуняши. Только не очень-то она им верила. Знала: от зависти бабы недоброе молотят. Не раз по праздникам, а то и просто так, вылетит иная из избы вся в слезах, а вслед хриплый мат мужика несется. Разве Бориска на таких похож? На людях он, правду сказать, грубоват. Когда посватал он ее, Катька Тулякова руками всплеснула:

— Да ить он замордует тебя!

Бориска был кряжистым, каким-то квадратным. Лицо в ранних морщинах, а глаза что два стальных бурава. Она и сама его побаивалась, когда он на «точке» первый раз, косолапя ноги в тяжелых броднях, подошел к ней:

— Пойдем в круг...

Хотела Дуняша отмахнуться, да не смогла. Был он с близкого расстояния совсем не злым. Взгляд сероватых глаз, спрятанных в глубокой тени бровей, был каким-то виноватым и смущенным. И дышал тяжело, как будто, прежде чем подойти к ней, долго шел в крутую гору. Этот робкий застенчивый взгляд и задержал Дуняшину руку от равнодушного взмаха. Сама не заметила, как очутилась с Бориской в центре круга.

Танцевал он тоже как-то угловато, кособоко. Но странное дело, Дуняша чувствовала себя легко с этим увальнем. И когда Пронька Ветров неожиданно оборвал переборы своей гармонии, она подбежала к нему, решительно затребовала:

— Сыграй еще!

Пронька с независимым видом чикнул слюной в сторону, прищурил глаз, по которому струился сизый дымок самокрутки.

— Че зазря музыку тревожить, чать не для себя стараться буду.

— А ты все же сыграй,— не отставала Дуняша.

Пронька, картинно пожав плечами, поправил ремень гармонии:

— На свадьбу не забудь позвать, коли в кавалеры не принимаешь,— и шевельнул меха.

Дуняша повернулась туда, где оставила Бориску, и растерялась. Его не было. Не отдавая еще себе отчета, зачем она это делает, Дуняша через цепь парней и девочек, окруживших площадку, выбежала из круга. Бориска стоял на сторонке и смотрел на нее.

— Ты чего ушел?

Бориска тяжело вздохнул:

— Не могу, понимаешь, на народе. Может, погуляем?

Вот после этого и поняла Дуняша, что ошиблись подружки, прозвав Бориску Прянишникову каторжной образиной. Сидел он рядышком на бревнах у избы деда Мефодия, поглядывал на нее украдкой и ни с того ни с сего улыбался. Чему, Дуняша понять не могла. А когда спросила, смущенно пожал плечами:

— Не могу я тебе объяснить. Просто хорошо мне, когда ты рядом.

Слов таких она еще ни от кого не слышала. Пронька Ветров, который несколько раз пытался проводить ее с вечерки, сразу же обниматься лез. Отбилась от него Дуняша быстро. Обиженный Пронька, одергивая на груди костюм, укорял:

— Че ломаешься? Да за меня любая девка пойдет.

— Вот и иди к любой, а ко мне не лезь!

— Тоже мне, роза майская,— поскреб в затылке Пронька.

Он хотел снова подступиться к Дуняше, но та предупредила:

— Полезешь, заору...

— Ладно уж, не включай радио,— отступил Ветров и, подхватив гармонь, скрылся за углом изгороди.

С Бориской все было не так. Ручищи у него здоровые, от работы в тайге огрубелые, словно две плиты песчаника. А вот взял он в свои ладони ее руки, и не почувствовала Дуняша их грубости. Наоборот, теплые да ласковые оказались они у Бориски. И вкус губ. Голова пошла кругом, когда первый раз прижал ее к себе Бориска.

Гибель мужа, как черная стена, разделила Дуняшину жизнь на две половинки. С той стороны, где они были вместе, тепло да любовь остались. С этой — одиночество, холод. Одна отдушина — двойняшки, оба на Бориску похожие. Только характером в мать — веселые. Как заладят игру какую-нибудь, словно стая дроздов стрекочет на рябине осенней.

За два года после гибели Бориски жизнь не раз Дуняше свои зубы показывала. Узнала она человеческую ненависть, рожденную обидой на свою неудавшуюся жизнь, и похоть мужиков, готовых по пьяной лавочке с чужой женщиной переспать.

Первым попытался «погостить» у Дуняши Пронька Ветров. Пришел хмельной, в глазах блудливые огоньки. Выставил две бутылки водки, тяжело осел на лавку:

— Принимай гостя!

Дуняша смерила его презрительным взглядом:

— Это с какой стати?

— А с той, что за старую дружбу выпить хочется.

— За какую такую дружбу?

— Брось ломаться, Дунях, неужто забыла, как молодыми гуляли?

— С тобой?

— А то с кем же. Это Бориска тебя отбил. А то бы жили вместе. Я ведь свою Ксюху почему взял? Отдалась сразу. А ты кочевряжилась, вот и не вышло у нас с тобой...

— Чего ж сейчас приперся?

Пронька поскреб в затылке, хмыкнул:

— Так вить, как говорится, живой ты человек. Думаю, дай загляну в гости.

— Ну и как?

— Чего как? — взломал в удивлении брови Пронька. — Пришел вот...

— Спасибо, что не забыл... А теперь забирай бутылки и проваливай!

— Вот те раз! К ней по-хорошему, а она от ворот поворот...

— Вот и приходи по-хорошему. Вместе со своей Ксюхой. Тогда и разговор будет, угощу, чем бог послал.

— Стало быть, гонишь старого друга?

— Какой ты к чертям друг? — всплеснула руками Дуняша. — Ведь у тебя одна мыслишка — наверстать то, чего по молодости не получилось. Так это дело у тебя не выгорит.

Сказав это, Дуняша подошла к двери и с треском распахнула ее:

— Проваливай!

Пронька просящим взглядом уставился на Дуняшу. Но та стояла, нахмутив брови. Проньке ничего не оставалось, как подхватить со стола бутылки и убраться восвояси. Уже в сенях буркнул:

— Дура ты, Дуняха. Неужто тебя к мужику не тянет?

— Сам дурак, — полыхнула Дуняша. — Ты и Ксюхе-то не больно нужен. Живет с тобой оттого, что податься боле некуда, детишек жалко.

— Брось врать-то, — тормознулся в сенях Ветров. — Ксюха у меня баба куда хошь: слова поперек никогда не скажет.

— Знаю, тебе заикнись — кулачищи-то враз распустишь. Сколько она, бедная, с синяками ходила?

— За дело, стало быть, — взъерошился Пронька. — Нехай закон помнит: язык за зубами держать научится.

— Ну и вали отседова со своим законом, — оборвала его Дуняша. — Ишь какой законник выискался...

На Проньку у Дуняши обиды не было. И горше на душе не стало. Шалапутничает от безделья, чтоб потом еще больше над своей Ксюхой покуражиться. А вот от случайной встречи с Михаилом Бедаревым сердце заломило. Да так, что как только вспомнит, в груди оживает крутая боль, кровь в висках начинает стучать звонкими колокольчиками.

Ехать в тот день в Ячменюху, стоящую в трех десятках километров от Коврижки, ее занарядил Колышкин.

— Обещались две справных мотопилы одолжить, а мужика посылать несподручно — время на лесосеке дорого.

Думала Дуняша засветло обернуться, да где уж там. Пока начальника участка ждала, да пока объявился с помятой физиономией кладовщик — дело к вечеру пошло. Можно было, конечно, заночевать в Ячменюхе, знакомых хватает, да желания особого не было.

Ночь выдалась лунная. Тайга стояла по берегам реки таинственная, сумрачная. Зато на реке, по которой проложен зимник, было светло, просторно. Весело бежит лошадка, пофыркивает морозным воздухом. И скрип от ее подков, полозьев саней летит над рекой перезвоном.

Незаметно Дуняша миновала устье Нижней Терси, по которой их участок плавит лес. И вдруг впереди увидела черную мужскую фигуру. Шел человек широким шагом, за спиной поблескивало ружье. Следом за ним, привязанные за веревочку, катились лыжи, подбитые камысом. Они переваливались с боку на бок на неровной поверхности зимника и походили на две длинные лады.

— Эгей! — крикнула Дуняша, — давай подвезу.

Мужчина остановился, шагнул в сторону, уступая дорогу лошадке, и повернулся навстречу приближающимся саням. Глянула Дуняша и охнула: на нее смотрели из глубокой тени бедаревские глаза. Впервые со дня гибели Бориски встретились один на один. Дуняша уж давно чувствовала к нему настороженность, неприязнь. Думала: не смани Бедарев в тот день Бориску идти за водкой, ничего бы и не случилось. Не пришлось бы ей испить горькую вдовью чашу.

— Вот это лихо, — загудел Михаил, забрасывая в сани лыжи. — Думал к утру домой попасть, а тут вмиг будем.

— Откуда путь держишь?

— А почитай от самой Кудыкиной горы топаю, — отшутился Михаил, и по его тону Дуняша поняла — большего не скажет.

— А ты?

— С Ячменюхи. Колышкин, растерзай его душу, за пилами послал.

— Ясно...

Дуняша хлопнула вожжами по заиндевелым бокам лошадки, и над рекой вновь повис скрип саней. Но теперь он не казался ей веселым. Скрип был однообразным, монотонным. И Дуняша нахмурилась, ушла в себя.

Привалившись поудобней на бок, пряча лицо от встречного ветра, Михаил закурил. С каждой затяжкой трепетный огонек самокрутки высвечивал черные узловатые пальцы, обветренное, задубевшее на морозе лицо, густые брови, под которыми притаились сумеречные глаза Михаила.

Бедарев волновался. Дуняша ему нравилась. Он уже давно подумывал о том, что если бы Бориска погиб не в тот злополучный день, то уже давно попробовал пробить к ней свою тропку. А так вроде сам на себя запрет наложил. Оттого и сторонился Дуняши. Тут же судьба, видать, свела, чтобы попытать удачу. От этого и волновался, не знал, как начать разговор.

— Дуняш... — протянул он, приподнимаясь в санях.

— Чего тебе? — насторожилась Дуняша.

— Виноват я перед тобой, — хрипло выдавил Михаил.

— Это еще с какой стати?

— Брось шутковать, не знаешь, что ли?

Да, виноват Бедарев в гибели Бориски. Это точно. А с другой стороны — где же сама была? Выходит, и она виновата в том, что пошел в Богдановку Бориска.

А Бедарев, словно почувствовав Дуняшино колебание, продолжал:

— Жить-то тебе не легко...

— Да уж малиной не назовешь, — вздохнула Дуняша.

— Вот и я об этом же толкую, — подхватил Михаил. — Я тебе за всегда помочь готов.

И неожиданно круто повернул разговор:

— Я тут соболишек добыл, пристрою шкурки к месту — деньги твои.

— Да ты что! — полыхнуло жаром в груди у Дуняши.

— А че особенного. Мне они все одно на пропой, а тебе для дела сгодятся.

— Нет, — мотнула головой Дуняша.

И вдруг из глаз у нее брызнули слезы. Все, что произошло потом, Дуняша помнит плохо. И как кричала прямо в лицо Бедареву, как бил ее нервный озноб от мысли, что торгуется с ней Михаил, поправ память о Бориске. На ходу она швырнула из саней лыжи. Следом вывалился Бедарев. Дуняша стегнула лошадь по крупу и, упав лицом в колющее сено, застонала, даваясь слезами от обиды и горя, от того, что еще раз судьба напомнила ей, кто она такая и каково быть вдовой бабой.

...Вот так и жила Дуняша. На замужество не рассчитывала. Коврижка не та деревня, чтобы в ней бесхозные мужики водились. Молодежь по городам разъехалась, а у остальных свои заботы, семьи. И у нее забот невпроворот. Двойняшки не давали особо скучать. «Вот если бы не было их, — думала Дуняша, — тогда совсем худо».

* * *

О том, что в Коврижку приехал новый егерь, Иван Чурилов первым дознался. И сразу же поспешил к Бедареву, поманил Михаила из избы. Тот удивленно посмотрел на кума, потянулся следом на двор.

— Слышал, — приглушенно шепнул Иван, когда скрипнула за ними дверь в сенцах, — егерь у нас новый объявился!

— Ну и че здесь особенного? — пожал равнодушно плечами Михаил. — Нам-то кой прок?

— Проку нет, — согласился Иван. — Только чует сердце, неспроста его к нам опосля техникума послали. Рази в городе места мало?

— Из техникума, говоришь? — насторожился Михаил. — Это уже интересно...

— Кой черт антирес нашел? — удивился Иван. — Знаю я этих грамотеев. Видать, не ко двору пришелся в городе, силком вытурили. Такой лютовать будет, чтобы отличиться, снова прописку в городе заработать.

— Брось, — стрельнул в Ивана посуровевшим взглядом Бедарев. — Балабонишь языком, что пустельга.

— Это как так? — уставился на кума Иван.

— А так, что не зная человека, напраслину на него возводишь. Ен, можь, своим мужиком будет, а ты труса празднуешь.

— Хошь убей — не поверю!

— Ну и не верь, тебя не насилуют. А язык за зубами попридержи, дай к человеку присмотреться.

— Твоя правда, присмотреться не грех...

— Вот-вот, умишком-то пораскинь, как тебе с ним жить. Может, что и придумаешь.

Хлопнув Чурилова по спине, Михаил поставил точку в разговорѣ:

— Так что приглядывайся к новому начальнику, ищи слабинку.

С этими словами Михаил круто развернулся, распахнул двери в избу. Аннушка, оторвавшись от печи, где пламенем брались лучины для растопки, пылливо посмотрела на Михаила.

— Чего ен приходил?

— Да так,— пожал плечами Михаил.— Ваньшу, че ли, не знаешь?

— Кабы не знала, не антиресовалась.

— Егерь, говорит, новый приехал. Техникум закончил, а его сюда...

Аннушка вздохнула, и Михаил увидел, как глубокая складка легла у нее возле губ. Так бывало всегда, когда Аннушка огорчалась.

— Ты чего? — обнял он ее за плечи.

Аннушка вздохнула:

— Не ндравится мне Иван. Скользкий. Чует сердце, неспроста он к тебе в дружки подбивается.

— Ну уж хватила! Ваньша — свой человек, родня как никак...

— Родня всякая бывает, — не согласилась Аннушка. — Иная и по-может в беде, а другая только об себе думает, выгоду ищет.

— Иван не такой. На охоте первым к берлоге подбежал. И на реке ничего. Другой посла такой купели здороваться б перестал, а Иван не изменился.

— Так вить на промысел ен к тебе набивается, — всплеснула руками Аннушка.

— Знаю, — отступил от жены на шаг Михаил. — Только ведь это ен ко мне набивается. Смекаешь?

— Дай-то бог. Один ходил, покойно на душе у меня было. Мало ли, что промеж собой говорят муж да жена. А третий, хоть и родня, все едино чужой человек.

— Это ты правильно, — кивнул Михаил и потянул кисет. — Только и Ваньшу не след отбивать, может, еще для дела сгодится.

— Только что так, — согласилась Аннушка и вдруг хлопнула в ладоши. — Господи, лучины-то прогорели, а я дровишек не подкинула.

Она суетливо распахнула печную дверцу, и слабый отсвет догоравших лучин озарил багровым светом ее лицо. Михаилу показалось, что и не было этого разговора, так покойно было выражение Аннушкиного лица и не видно было глубокой складки в уголках губ.

* * *

Крутой норов у Томи. Весной, собрав все снеговые воды края, взбухает, как доброе тесто на опаре. Любую преграду сметет на своем пути, перемелет камнями на перекатах, мелким песочком посыплет на студеных плесах.

Летом река преображается так, что и не признать в ней весенней удали. Левый берег у нее низинистый, покрытый лугами заливными. На лугах, как новенькие пяточки цыганского монисто, то тут, то там — пойменные озера да старицы раскиданы. Все они оправлены тальником, густой порослью камыша.

Правый берег почти на всем протяжении скалистый. Не раз за

время своего пути к Оби пытается Томь штурмовать скалы. Обычно для этого она сначала далеко отходит от них, берет разбег. Набрала скорость, с маху бьет своим могучим кулаком по становому хребту скал. В том месте, где хлещет Томь по песчанику и известняку, вода кипит, пенится. Но стоят неприступно скалы. Лишь иногда малость уступают реке. Тогда с грохотом летят в воду каменные глыбы, поднимая фонтаны брызг.

Тайдонка шла вверх по Томи споро. Рулевой знал свое дело, умел вовремя увернуться от торчащего из буруна камня, отполированного водой до блеска, проскочить над мелью, которую нынешней весной успела переместить река с одного места на другое.

Николай за рекой не следил. Он сидел в носу лодки и вспоминал недавнюю встречу в областном управлении.

Встретили его там радушно. Начальник управления предложил целую кучу должностей в городе. Но у Николая была на этот счет своя думка, и он коротко рубанул:

— Штаны протирать в канцелярии не желаю, мне участок свой нужен.

Начальник немало был удивлен ответом, но отговаривать не стал.

— Есть у нас приличный участок, да народ тяжелый. Кержаки, одним словом. Было там у нас несколько егерей, так их на корню купили. Сам понимаешь, пришлось уволить. А участок бесхозный, хотя заказником считается...

— Я согласен, — не дослушал Говоров, — куда ехать?

Начальник довольно хмыкнул, радуясь напористости молодого выпускника пушного техникума. Скрипнув креслом, поднялся на своих ревматических ногах, покачиваясь, подошел к карте-синьке, что грязным аляповатым пятном висела на стене, ткнул пальцем:

— Коврижкой называется деревенька. Вот она... — и, словно спохватившись, заспешил. — Только мы туда тебя ненадолго, мне и здесь специалисты во как нужны.

Сборы у холостяка, что у солдата — скорые. Получил аванс, подъемные, боеприпасы, документы — и вот уже несется тайдонка по стремительной Томи.

— А вот и Коврижка, — махнул в сторону левого берега рулевой.

С реки все было видно, как на ладони. Плотной стеной с трех сторон подходила к деревне тайга. Черные пихты, местами нежная зелень берез, бархатное серебро осин. А деревушка скопом взбежала на круглую сопку, и, глядя со стороны, можно было подумать: большая, добротная коврижка, испеченная в крестьянской печи, заботливо уложена на сине-зеленый рушник тайги.

Дуняшу Прянишникову Николай заприметил еще до того, как лодка ткнулась с разбегу в мелкий береговой галечник. Она била по сложенной в ком простыне сверкающим бликами вальком. И от каждого удара гулкий шлепок катился над водой. Волна от лодки плеснулась по ее загорелым коленям. Дуняша плавным движением руки откинула черную пряжку волос с лица, весело крикнула рулевому:

— Ты чего волну гоняешь, утопить хошь?..

— Будя визг подымать. Не видишь, начальника привез...

Дуняша с интересом посмотрела на приезжего. Белый лоб, скуластое лицо и нос тонкий, с горбинкой. Чисто бабьей интуицией отметила — молчун. Ишь губы-то какие тонкие, в ниточку.

— Начальству у нас почет, — сказала громко. — Медовухой попотчуетс, и поминай как звали.

— Будя языком молоть. Егеря привез нового. Сафронова где разыскать, скажи...

— На покосе, поди, видишь, какое ведро стоит. Нынче весь народ на луга подался копехи метать.

Узкая тропка вела от причала круто в гору. Пока Николай был на реке, прохлада сбивала жару. А вот стоило чуть отойти от нее, жара показала себя. В висках застучали маленькие молоточки. То и дело смахивая широкой ладонью пот со лба, он с любопытством глядел по сторонам, рассматривая деревушку с чудным названием Коврижка, которая, быть может, станет его родным уголком.

Она понравилась ему своей бесхитростной красотой. Все по-таежному просто, добротное. Видать, осели здесь люди надолго. Почерневшие от времени избы, сработанные из звонкой лиственницы, тесовые крыши.

Бригадир Сафронов со всей семьей был на покосе. Лишь бабка Лукерья, его теща, хозяйничала на подворье. Она пригласила рулевого и Николая зайти в дом. Но рулевой замахал руками.

— Мне, бабуса, поспешать надо до дому.

Тряхнув своей лапищей Николаеву руку, он развернулся и неторопливо, загребая хромой ногой дорожную пыль, пошагал к реке. Николай остался с бабкой Лукерьей.

Полуденное солнце, висевшее почти над головой белесым пятачком, раскалило воздух, словно в русской печи перед посадкой хлеба. Николай уселся в короткой тени плетня на замшелую колодину. От курева першило в горле.

Краем глаза он отметил: над плетнем мелькает белый платочек. Николай всмотрелся: та самая женщина, что полоскала белье на реке.

— Чего это начальник сиротой сидит?

Николай улыбнулся:

— А мне пока больше негде: жду бригадира, может, он организует для меня крышу.

Дуняша качнула головой в сторону реки:

— Так выходит, Санька Кривоногий не шутовал, когда говорил, что у нас работать будете?

— Не прогонят — буду.

— Доброго человека кто прогонит? А вот злыдень не приживется...

В этот момент бабка Лукерья, найдя в плетне щель пошире, втиснула в нее свое иссохшее от частых постов тело.

— Никак ты, Дуняша? А я к тебе собиралась.

— Это зачем же?

Бабка пожевала беззубым ртом, утерла морщинистые губы узкой, словно лодочка, ладошкой, кивнула в сторону егеря.

— На фатеру человека принять надоть...

— А я-то здесь при чем? — удивленно подняла брови Дуняша. — У меня что, постоянный двор?

— Рази в этом дело... Кто ж его возьмет, коли кругом люди семейные, детные. Кудой не сунься — везде откажут. А у тебя комнатуха слободная...

— Да ты что, с ума выжила? — вспыхнула Дуняша. — А что люди подумают?

— Твоя правда, — вздохнула бабка и потерла переносицу. — Ить точно зачнут языки чесать.

— А ты говоришь на фатеру...

Лицо у Дуняши стало озабоченным.

— Есть выход, — оживилась Дуняша. — Нехай к Мефодию идет...

— И верно! — всплеснула руками бабка Лукерья. — Как я, старая, не догадалась! — и попросила: — Ты уж проводи его.

— Это не трудно, — согласилась Дуняша и повернулась к Николаю. — Пошли, че ли...

* * *

Нынешней весной деда Мефодия словно муха какая укусила. Улучив момент, когда бабка подалась по своим знахарским делам в Богдановку, распочал пятиведерный логушок старой медовушки, поставленной еще под рождество, и пошло веселье. Только одного не могли припомнить мужики, какой черт дернул Проньку Ветрова завестись. Увидев во дворе двухгодовалого мефодиевского бычка, похлопал по лоснящемуся боку:

— Сколько он потянет?

Дед пожал плечами:

— Центнера два с половиной должен...

Пронька молча обошел бычка, который лениво пускал слюну, пережевывая жвачку. Стояли вокруг мужики, не понимая, чего это еще удумал Пронька. А тот неожиданно ловко нырнул под брюхо бычка, прихватил руками его ноги, обляпанные навозом. Не успели мужики и глазом моргнуть, крикнул Пронька и поднял животину в воздух. От напряжения жилы буграми вздулись на его лбу, а ноги тяжело вдавились в едва оттаявшую землю.

Деду бы на этом и оборвать концерт, успокоить расхोдевшихся мужиков, а его словно леший кочергой пошуровал. Метнулся в избу и вытащил на подворье еще ведро медовухи.

— Угощайся, Пронька, пей за силу свою могутную!

Загуляла по кругу большая берестяная кружка. Выпил Михаил Бедарев и, усмехнувшись пьяной улыбкой, бросил:

— Поднять бычка — забава детская. А вот кто уложить его сможет! Хохотнули мужики. Этот Михаил вечно что-нибудь выдумает. И не заметили, как, коротко охнув, Бедарев неожиданно резко хрястнул бычка между рог. Что-то хрустнуло, и бычок удивленно уставив фиолетовые глаза на покачивающегося перед его мордой Михаила, медленно стал заваливаться на бок.

В это время и появилась бабка Настасья. Заголосила, кинувшись к лежащему бычку. Мефодий поспешно убрался в избу, поволакивая ногу. Поняв, что уже ничем не помочь бычку, бабка налетела на мужиков. Била их по каменным спинам, голосила:

— Храпоидолы несчастные, над скотиной смываетеся!

Мужики недружной кучкой, отступая под натиском Настасьи, поспешили убраться по-добру-здорову.

Только по дороге к дому до Михаила дошел весь смысл происшедшего. Растил того бычка дед с великим усердием. Готовил подарок для сыновей, которых ждал к зиме в гости. И каждый раз говорил мужикам:

— Подрастет, прирежу. Будет Сергуньке со Славиком подарок. А то ить в городе-то больно не разгуляешься, всякая кроха с магазину да базару.

И вот бычка не стало. Михаил удивленно поднял сжатый до хруста кулак. Не верилось, что вот этой рукой он так легко устукал здоровую животину. И неожиданно устыдившись злой своей силы, торопливо сунул кулаки в карманы брюк.

На следующий день, пока не захороводились мужики, решил Михаил замять эту историю с бычком. Он улучил момент, когда вышла на двор Аннушка, торопливо раскрыл сундук, где хранила жена все их добро, нащупал в платочке деньги. Не считая, сунул в карман, тут же поспешил на улицу. Аннушка, увидев его, удивленно вскинула брови:

— Куда, опять куролесить?

Михаил отмахнулся:

— Будя шуметь, дело есть.

Он долго сидел на крылечке магазина, ощущая в карманах приятную тяжесть двух бутылок водки. В голове от вчерашнего гудело. Хотелось поскорей убрать эту гудящую боль. Но рука никак не поднималась ударить по донышку бутылки. Михаил сглатывал подступившую слюну, с тоской смотрел на дом деда Мефодия. Он ждал его появления. Ждал терпеливо, словно в засаде на зверя.

Скрипнула калитка, и Михаил увидел, как, озираясь по сторонам, на улицу вышел Мефодий. На плечах болтался просторный полушубок, из-под него белели подштанники. Дед спешил, и от этого разъезжались у него ноги в резиновых сапогах. Вид старика успокоил Михаила. Он понял, что с ним можно будет все уладить, привстал с крылечка, махнул призывно.

— Я тебя давно заприметил, да только бабка не пущала, — зата- раторил Мефодий. — Штаны, старая, спрятала. Пришлось в исподнем бегчи.

Михаил виновато развел руки:

— Ты уж прости, перегнул я вчерась малость. Вот возьми деньжонки за бычка.

Михаил протянул аккуратную пачку денег, но дед протестующе, с каким-то испуганным выражением на лице, сказал:

— Борони бог, на них бычка не купишь, потому как нет ни у кого в Коврижке такой скотинки на продажу.

— Деньги не берешь; я тебе хошь седни сохатого завалю.

— От сохатины уволь.

Михаил обиженно засопел, на его скулах заиграли желваки. Дед, увидев перемену в его настроении, успокоил:

— Ты на меня не сердчай. Это все бабкина политика. Да и за што деньги-то брать? Неужто теперича мясо тебе отдавать?

Помолчал, жуя губами, хлипнул носом:

— Трещит проклятая со вчерашнего.

Михаил встrepенулcя:

— А я тебя за этим и ждал...

Наверное, так бы и обошлось, да только, почитай, каждый вечер пилила бабка Мефодия за бычка. И Мефодий сам стал иногда подумывать: «Мишке-то шуточки, а мне хоша в петлю влезай».

Поначалу это была только жалость к самому себе за то, что каждый раз, как бабка ставила на стол солонину из забитого Мишкой бычка, попрекала. Потом эта мысль закрепилась, незаметно для самого себя озлобился Мефодий на Михаила:

— Ишь дуролом. Угробил скотину и даже ухом не повел.

Как-то забылось со временем, что Бедарев предлагал деньги за бычка, обещал в любое время сохатого завалить. А тут еще бабка изводит. Стал сторониться после этого мужиков дед Мефодий, боясь в душе, как бы еще какой пакости не совершили они по пьяному делу. Теперь чаще обычного наведывался он к потаенным настойкам Настасьиним. Выпьет стаканчик-другой, а чтобы не поймала бабка с поличным — водой дольет. Не замечала Настасья подвоха, и деду от этого было приятно и интересно, хотя плевался от души, считая, что переводит бабка понапрасну добро на бесполезную горечь, от которой вроде бы при многих болезнях помогает. И когда пил втихую горькую, как желчь, полынную настойку, каждый раз вновь обида на Михаила вставала. Да только никто в Коврижке не знал об этом. Тут уж исстари повелось: радость человек каждому готов показать, похвастать, а обиду при себе до поры до времени держит, пока не приспеет с обидчиком по квитаться, должок сполна вернуть.

* * *

Ударил первый утренник. И сразу дохнуло осенью. Еще вчера тайга стояла вся сине-зеленая, а сегодня взгляделся Николай в раскинувшиеся перед ним сопки и отметил первые желтые пятнышки. Это осина-недотрога холода почуяла, поспешила одеться в багряный наряд.

Любит Николай стоять на вершине этой крутолобой сопки, у подножия которой с одной стороны протекает Томь, а с другой кувыркается неприметная речка Бунгарап. Отсюда видно Николаю все, как на ладони. Вон белки проглядывают. Это Поднебесные Зубья да гора Церковная подперли своими вершинами голубой небосвод. Чуть левей — Большой Таскыл. Между ними — вершина Каныма.

Стоит Николай, смотрит, и в груди поднимается озорное веселье. Громким, разбойничьим криком будит он загадочную тишину тайги.

— Э-ге-гей!

Голос улетает за Томь, долго бьется о сопки. Только спустя почти минуту возвращается он к Николаю едва уловимым шепотом.

Николай поглубже вздохнул, вновь крикнул и, торопливо прижав ладонь к уху, замер в ожидании ответа тайги. В это время громко треснул за спиной сучок. Николай резко обернулся. Из-под пихты, отодвинув колючие ветки в сторону, на него с любопытством смотрел дед Мефодий.

— Ты чего расшумелся? Я уж думал — не прибудился ли какой-нибудь городской шишкарь, — удивленно протянул Мефодий. — Места-то глухие...

Николай смутился:

— Да нет здесь никого. Эхо я слушал.

— Эхо, говоришь. Оно здесь раскатистое. Недаром, поди, люди той камень, — махнул дед сухонькой ладонью на противоположный берег Томи, — Шептуном зовут. Все, что здесь скажешь, все уловит, шепотком перескажет.

— А Ярыгин камень почему называется?

Дед упрятал глаза в узкие щелочки век.

— Ярыгин-то? Это, брат, на ходу не рассказывается.

— А мы давай сядем, куда спешить? — махнул рукой Николай на сухую валежину, доставая сигареты.

Они неторопливо закурили: дед по привычке погладил бороду, уставился в даль тайги, которая разлилась на противоположном берегу, заговорил глуховатым голосом.

— Камень ты видел, описывать не надо. А пошто звать его стали таким именем, старики вот как сказывали... Края энти в глубокую старину под татарами были. Потом только русские пробились по рекам сюдой, обложили хакасов, шорцев податью. Сободем брали, бобром. Я мальчонкой был, наши мужики здесь еще бобров лавливали. Счас нет такого зверя, начисто выбили. И тянулись сюда людишки из Расеи. Кого только не было: беглые кандальники, крестьяне, казаки лихие. И у каждого свой закон, своя думка. Один думал хозяйством обзавестись, другой — на легкое житье рассчитывал. Тогда и объявился на Томи один каторжник приметный. Ухо клещами кузнечными рваное, ноздри тоже каленым железом мечены. С целой ватажкой таких же бывалых основался на реке. Силушка неумемная играет. А звали коротко — Ярыга. Облюбовал атаман скалу, что напротив Коврижки. Течение там сам видел какое, сколько ни гребь, все одно к камню прибьет,

Ярыга-то этим и пользовался, все купеческие карбасы перехватывал. Немало под тоим камнем купчишек свой последний приют нашли. Не раз казачьи да стрелецкие отряды пытались выкурить Ярыгу с его камня, да только цепко он за него держался со своей варажкой. Старики сказывали, будто он и заложил Коврижку, первую избу срубил. А тот камень с тех пор Ярыгиным и зовут.

Дед замолчал, покачиваясь на валежине, растирая руками узловатые в коленях ноги.

— Выходит, ты потомок того Ярыги.

— А кто его знает, — усмехнулся Мефодий. — Ежели так рассуждать, то все, кто здесь родился, Ярыге сродственничками являются.

Он опять замолчал. Задумался и Николай. Сидели каждый занятый своими мыслями. А над ними, над тайгой, которая нисколько, наверное, не изменила свой облик со времен, когда был здесь хозяином Ярыга, плыла тишина. И в бирюзовой синеве неба медленно кружились серебряные паутинки. То прямо свою пряжу бабье лето.

* * *

Бабка Настасья после памятного случая с бычком Мефодия держала в строгости. Дед особенно не противился, кулаками не размахивал. А Николаю с виноватым видом объяснил:

— Бабы, оне все стервы. Поначалу любовью приворожат, а потом всю жисть душу на кулак выматывают.

На деспота бабка Настасья никак не походила. Сухонькая, с ввалившимися восковыми щеками. Ее голубые, совсем почти не выцветшие от времени глаза смотрели на все с добротой, лаской. Слава о ней среди баб шла большая. И хотя был в Богдановке фельдшерско-акушерский пункт, чаще всего к ней приходили бабы за помощью. Она и вывих выправит, и кровь остановит из раны. Простуду прострельную, ревматизм зловердный Настасья лечить была мастерица. И роды принимала несуетливо, с шуткой да прибауткой. Наверное, оттого, что рядом с роженицей была своя, знакомая с детства бабка, проходили роды у многих баб без особого крика. А, может, тут еще и жизнь свое слово сказывала. В Коврижке и Богдановке хилую, узкогрудую девку с тощим задом и не найдешь, пожалуй. Тайга лишь крепких да выносливых допускает в свои хоромы.

Для Дуняши Прянишниковой Настасья была вместо родной бабки. Двойняшки ее дневали и ночевали в Мефодиевском доме. Они то и дело переворачивали в избе все вверх дном. Но бабка строжилась на мальцов лишь ради видимости. Ругает, а у самой в глазах улыбка живет:

— Ишь, пострелята, вот мать придет с работы, она вам задаст!

Васяньку с Петянькой эти слова не пугают. Они знают, бабка Настасья добрая, не выдаст их проказы матери, пожалеет.

Со слов Настасьи Николай знал о гибели Дуняшиного мужа. Глядя на двойняшек, не раз бабка потаенно вздыхала:

— Сиротами растут, господи.

Незаметно подружился с Петянькой и Васянькой Николай. Они оказалисьмышленными малыми. Почуввав в Николае своего союзника, они тут же надели на него с просьбой рассказать о пиратах, забытом острове сокровищ. Наблюдая за их игрой, бабка качала головой:

— Мужики, оно и есть мужики. Усе про войну да разбойников.

А дядя Коля ко всему пообещал сделать им настоящие луки и колчаны со стрелами.

Выбрав в тайге пару подходящих черемуховых стволов, Николай в тот вечер рано вернулся из тайги. И тут же был взят в окружение двойняшками.

— Мне, мне первому! — кричали наперебой Васянька с Петянькой.

Бабка Настасья всплеснула руками:

— Да помолчите вы, оглашенные!

Дед, чтобы не втянули ребята и его в игру, убрался на свою лежанку. Поглядывая с верхотуры печи, он был похож на старого петуха, которому молодые намертво заступили дорогу.

Николай, сдерживая улыбку, отбивался:

— Кто меньше шуметь будет, тот и получит первым лук.

В избе враз стало тихо. Присмиревшие двойняшки заворуженно следили за каждым движением Николая, который мастерил настоящие луки.

Получились они на славу: тетива из прочной жилковой лески позванивала. Теперь оставалось самое малое: сделать стрелы.

Дед с печи посоветовал:

— Ты сосновый чурачок найди без сучков, вот и будут стрелы...

Отыскать в поленнице дров нужный чурачок было делом минуты. Стрелы получились ровные, как на подбор. Николай подумал, что не хватает наконечников, но, поразмыслив, махнул рукой:

— Ну да ладно, пойдем стрелять.

Выйдя во двор, Николай накинуд на плетень старое ведро:

— Вот главный басмач будет.

С этими словами он вскинул лук. Упруго натянулась тетива. Затив дыхание, Николай прицелился в ведро. Белой змейкой промелькнула в воздухе стрела. Тень...

— Урааа! — закричали двойняшки.

— Ну, а теперь учитеь сами, — Николай протянул ребятам лук.

Стрелы летели мимо цели. И от этого у мальчишек стояли в глазах слезы. Но не такие Петянька с Васянькой, чтобы сразу кропить соленой водицей щеки. Закусив губы, они вновь и вновь выцеливали голлову зловредного «басмача».

За этим занятием и застала их Дуняша. Всплеснув руками, она принялась отчитывать сыновей:

— Это чего надумали... Глаза повышибаете!

— Нее, — важно протянул Васянька, — мы басмача расстреливаем.

— Вот я вам дам, басурмане! — хлопнула его по затылку Дуняша. — А ну, марш домой!

Ребята принялись собирать разлётевшиеся стрелы, а Дуняша обернулась к Николаю.

— Балуешь ты их...

— А чего здесь особенного!

— Да ничего, только не след...

— Это еще почему?

Дуняша примолкла, раздумывая: говорить или нет. И набравшись решимости, вдруг потупила взгляд, сказала глуховатым голосом:

— Ты только не обижайся. Они с тобой поиграют, а дома отца вспоминают.

Николай смутился:

— Я ведь не специально, прости, коли так вышло...

Как-то сидел вечерком Николай на кухне, составлял дневник. Дуняша, заглянув к старикам после вечерней дойки, с любопытством посмотрела на толстую тетрадь в клеенчатом переплете.

— Никак стихи пишешь?

Николай улыбнулся:

— Нет у меня такого таланта.

— Выходит, письмо подружке в город, аль еще куда?

— Не угадала, — продолжал улыбаться Николай. — Дневник веду.

— Это что же, как в школе?

— Примерно. Только в школе в него двойки ставят, а я для памяти.

— Это зачем же?

— Для работы надо...

— Рассказывай сказки, — не поверила Дуняша. — Эдак сюда что захочешь — напишешь.

— Ну, нет. Себя обманывать не станешь.

— Это ты правильно говоришь, — согласилась Дуняша и неожиданно спросила: — А сегодня ты чего видел?

Николай пожал плечами:

— Всякое: осина на северных склонах желтизной покрывалась. Береза тоже свои косы в этот цвет покрасила. Шишка на кедрах созрела, а сенокосы свои стожки на камни да кусты поднимают. Наверное, зима снежная будет, зверьки это чувствуют...

Николай замолчал. Дуняша сидела удивленная.

— Так ты что, каждый день описываешь?

— Зачем же, только когда интересное увижу...

— Какой же тут антирес, когда береза с осиною пожелтеют, да кудой сенокосы травку затаскивают?

— А такой, что на будущий год будет с чем сравнивать.

— Верно. Николка бает, — вклинилась в разговор молчаливая все это время Настасья. — Старые люди тоже все приметы знавали.

— Правильно, — поддержал бабушку Николай. — Только у меня не одни приметы. Где лося видел с важенькой, где беличье гайно нашел. Все надо учитывать...

— Никак в толк не возьму, — сказала Дуняша, — на кой ляд в тайге такую бухгалтерию разводить. Рази в ней утешь все?

— Не скажи, — крутнул головой Николай, — в ней тоже всё учесть можно. Вот дедуся мне Бунгарап показал, там же бобров разводить можно. А в тайге — соболя.

— Вон оно куда выходит, — протянула Дуняша. — Хочешь зверя разводить?

— Вот именно, — улыбнулся Николай.

— А не боишься, ежели мужики его тем временем к рукам приберут?

— Не может быть, — пожал плечами Николай. — Неужели все без понятия, только хапать горазды?

— За всех сказать не могу, — пожала плечами Дуняша. — Дело это мужское, и не нам, бабам, в него соваться.

Николай попытался все свести к шутке:

— Вот видишь, сама ничего не знаешь, а уже запугиваешь.

И тут же построжал его голос.

— Ну, а если такой подлец попадетсЯ, я на него управу мигом найду.

* * *

За одну ночь тайга надела зимний наряд. Николай замер на крыльце, прищурив глаза от режущей белизны снега, и сделал открытие: тайга посветлела, раздвинула свои границы, а Коврижка сжалась, как-то враз стала маленькой. И над всем этим, над посветлевшей тайгой, над черной Томью, по которой беловатыми оспинками шла шуга, над нахохлившейся Коврижкой, плыла тишина. Такая, что Николаю на миг показалось: крикни, и голос долетит до белков, сверкающих своими сахарными вершинами в далекой синеве.

Он подкинул в руке Мефодиевский топор, щелкнул ногтем указательного пальца по лезвию. Металл отозвался приятным звоном. Топорище, сработанное из комля изогнутой природой березы, было отполировано до воскового блеска, ловко лежало в руке. А лезвие само, казалось, без особого усилия кроило из березовых и лиственничных кругляшей аккуратные полешки. Ууххх... — выдыхает Николай. Описав короткую дугу над головой, топор легко входит в кругляш. Машет топором Николай, а усталости не чувствует, хотя уже вокруг большой ворох дров наворочал. Лишь тогда и расслабился, когда неожиданно скрипнула за спиной калитка и появилась Дуняша.

— Это ты чегой надумал?

Николай улыбнулся. Такой он и представлял увидеть Дуняшу, когда шагал поутру от Мефодия к ее избе. Брови изогнуты дугой, а в глазах искринки. И от того, что все получилось, как он загадал, почувствовал Николай озорную силу и, чуть дурачась, подмигнул Дуняше:

— Дровишки приглянулись. Уж больно хороши...

— Так чать дровишки мои.

— Ну и что же, жалко тебе их?

— Так не просила я тебя.

— Просят, когда хотят за работу заплатить. А мне платы не надо.

Дуняша покачала головой:

— Дурачок ты, Николай. Тебе шуточки, а мне потом проходу по улице не будет.

— Это еще почему?

— Почему, почему... Наших, че ли, не знаешь?

— А ты плюнь на то, что бабы скажут. И потом... — Николай неожиданно сбилсся, замолчал. Только сейчас он вдруг ощутил, что уже давно думы его вертятся вокруг Дуняши. И даже вот этот приход — не случайный. А вот что там было на душе, Николай еще и сам толком не знал. Ему нравилась Дуняша. Но этого было мало. И еще не знал Николай, как сказать об этом ей. Оттого и замолчал в растерянности и смущении. Говорить о том, что подумалось, вот так просто — духа не хватит. А Дуняша, не замечая его волнения, спросила:

— Чего ж потом?

— А выходи за меня замуж, — сказал и потупился Николай.

Дуняша, не ожидавшая такого поворота в разговоре, охнула, и лицо ее открылось бледностью.

— Разве я тебе ровня? — едва слышно выдохнула она.

— О чем ты?

— Неуж не поймешь? У тебя, почитай, вся жизнь впереди, а у меня все позади осталось...

— Да ты что, Дуняша! Была бы любовь, а с ней сам черт не страшен.

Он шагнул к ней, положил свои тяжелые руки на ее плечи.

— Ты меня слышишь?..

Дуняша стояла сжавшись, отведя взгляд в сторону. Он чувствовал на своей руке ее жаркое прерывистое дыхание.

— Любовь, говоришь, — словно эхом отозвалась Дуняша. — Рази она два раза в жизни бывает?

В груди у Николая от этих слов стало холодно, и руки соскользнули с ее плеч.

— А я не тороплю тебя, — пересиливая нахлынувшее удушье, проговорил он. — Только ведь и у меня в жизни не одни конфетки были. От самого близкого человека горькую пилюлю пришлось принять.

— Это как же так?

— Да вот так. Была и у меня любовь. Только какая же к черту это любовь, коли слаба, как паутинка. Я в Коврижку подался, а она в городе осталась. Чуть натянулась ниточка, сразу и лопнула.

— Может, еще наладится?

— Так не бывает. Связывать да сшивать по гнилому месту — занятие бесполезное...

В это время он услышал скрип, повернулся. В проеме калитки стоял дед Мефодий.

— Здравово, Дуняха, — пробасил дед и покачал головой, глядя на кучу дров. — Вот это наворочал. Чать без передыху топором машешь?

Дуняша вспыхнула румянцем. Стараясь скрыть смущение, она нарочито громко запрочитала:

— И не говорите, дедуся. Я у Катьки Туляковой сижу, ничего не ведаю, а ен здесь с дровишками воюет.

— Знаю, топор-то чать мой, — кивнул головой дед. — Думаю, причитається за сплотацию струмента.

— А как же, — поддержала его Дуняша. — Рази за помощь у нас когда без стола обходилось...

Шутливо поклонившись, она пригласила мужиков в избу.

То ли от того, что не рассчитывал дед Мефодий на такую скорую выпивку или что давненько не пивал белого вина, пробавляясь бабкиными настойками, но захмелел быстро. И был искренне удивлен, когда увидел перед собой пустой стакан. — Неужто прикончили? — и озадаченно поскреб пятерней затылок. — Вот едрить корень, что значит старость. Ране одному двух белоголовеньких тольке-тольке для веселья хватало, а теперича, гли-ко, втроем выпили, а у меня в глазах рябит.

— Может, приляжешь, отдохнешь? — предложила Дуняша.

Дед помахал в воздухе согнутым в крючок пальцем:

— Никогда. Не такой я человек, чтобы дорогу домой забыть. Хошь какой пьяный ни на есть, а домой завсегда приползу.

С этими словами дед отвалил от стола, сгреб в охапку полушубок с лавки.

— Я одной ногой здесь, а другой — дома.

Кособочась, он плечом турнул дверь, загремел в сенях пустыми ведрами.

— Ишь как ходко шагаю, ажно таки земля гремит...

Дуняша стояла у печи, забю кутая плечи в полушалок:

— Может, проводишь деда?

— Сам дойдет, рядом же...

Николай подошел к Дуняше, обнял ее, чувствуя ладонями, как вздрагивает ее тело.

— Не надо, Коля... — донесся приглушенный ее голос.

Но он уже почти ничего не слышал, ломая жаркое, податливое ее тело, задыхаясь от своей неловкости, боясь взглянуть ей в глаза.

* * *

В Коврижке не очень удивились тому, что егерь сошелся с Дуняшей Прянишниковой. Рассуждали так: парень молодой, а девку в окрестных деревнях лучше не сыщет.

Зато когда прошел слух по Коврижке, что привезли живых соболей, в деревне диву дались. Поздним зимним вечером ввалился в избу Дуняши Прянишниковой, громко стуча заледенелыми валенками, покрытый плотным куржаком главный охотовед госпромхоза Олег Васильевич Грохотов. Приехал не один: на розвальнях, укрытые полушубками и брезентом, стояли рядами клетки с соболями.

Несмотря на поздний вечер, почти вся Коврижка поспешила к Дуняше. Не успели Николай вместе с Грохотовым перетаскать клетки в

избу, чтобы не замерзли за ночь в своем тесном жилье соболишки, появились гости. Первым объявился дед Мефодий. Степенно поздоровавшись с Николаевым начальством, он вдруг вприпрыжку затрусил в горенку с клетками. Прищурился, удивленно зацокал языком:

— Вот, едрить корень, сколько живу на свете, а таких красавцев отродясь не видывал.

Соболи деда не приняли. Они метались по клеткам, зло шипели, в хищном оскале показывали блестящие, похожие на миниатюрные сабельки, острые клыки. А дед, не замечая недовольства соболей, скреб заскорузлой пятерней бороду и все качал головой, удивленно поднимая кверху порыжелые, выцветшие брови.

— И сколько такая краса стоит? — спросил он Грохотова.

— А поболее двух «Волг» потянут.

— Брось над старым шутить, — недоверчиво протянул Мефодий.

— Никто и не собирается над тобой шутить, дедуся, — успокоил его охотовед. — Таких соболишек только на международном аукционе продают. Чистым золотом берут за каждого. И не малое золотишко, может, за шкурку машину можно купить.

Этот разговор слышали Пронька Ветров и Иван Чурилов, которые минуту назад вошли в избу и сбивали голиками с валенок снег. Оба замерли на мгновение, и голики глухо стукнулись о выщербленный пол. Взгляды их встретились. Пронька подмигнул Ивану:

— Слыхал?

— Чай не глухой. Посмотреть надоть...

Они заспешили в горницу и увидели деда Мефодия, который как будто хватил добрую горсть ядерной кислоты и никак не может справиться с судорогой, перекосившей лицо. Не мог дед взять в толк: шутит Николаев начальник или правду говорит? И придя к своему выводу, поманил егеря:

— Заливает твой Горохов про соболей?

Николай похлопал озадаченного деда по плечу:

— Во-первых, не Горохов, а Грохотов, а во-вторых, говорил он тебе о шкурках. А вот эти, живые, еще дороже стоят. Охотникам за них немалые деньги плачены, да самолет гоняли из Забайкалья.

Слова Николая убедили Мефодия. Ему захотелось еще разок взглянуть на дивных зверьков. Он втиснулся между Иваном и Пронькой, сидевших перед клетками на корточках. Прищурил глаза, нацелился взглядом в сумрак клетки, где, изогнув шелковистую спину дугой, зло шипел соболю. И как ни пытался поймать его взгляд дед Мефодий, не мог уловить этого момента. Казалось, зверек смотрит сквозь человека, как через оконное стекло. Дед одобрительно крякнул, подтолкнул Ивана:

— Дикой зверь. Такой и впрямь у человеческого жилья не задержится, уйдет в глухомань нетронутую.

Чурилов не отвечал. Все его мысли крутились вокруг этих необычных соболей. То, что они здорово отличались от местных, Иван отметил моментом. В прошлом году он трех штук словил недалеко от Коз-

рижки. Его соболи были рыжевато-палевые. Они лишь на спине имели черный ремешок. А эти — искристо-черные, словно кто посыпал их пушистую шерстку и длинные остья мельчайшим жемчугом. Даже в сумраке клетухи легко улавливался переливчатый серебряный цвет на шелковистом черном фоне.

Иван на мгновение представил, как должны они выглядеть на ярком солнечном свете. И от предчувствия, что задумки его теперь наверняка исполнятся, вдруг ощутил, как закружилась голова, словно хватил добрую чарку хмельного вина. И тут же похмурил, насупился, боясь ненароком выдать свои потаенные мысли. Равнодушным тоном, словно и не было у него к этим соболям интереса, протянул:

— Соболишки-то ничего. Только нашему брату от них одни убытки. Теперича Никола с ружьишком и близко к тайге никого не подпустит, — и повернулся к Проньке. — Пошли, че ли?

Ветров отмахнулся:

— Не туркай, дай зверух толком разглядеть.

— Как знаешь... — он шагнул к Николаю, протянул широкую ладонь, зачерненную намертво пихтовой живицей: — Бывай здоров, пора и честь знать.

Иван распахнул дверь и, словно растворившись в облаке морозного пара, исчез. Лишь раздался хлопок двери об косяк, да было слышно, как скрипнули под ним шаткие ступеньки крыльца.

Лишь мельком глянул Иван в сторону своего дома, а ноги сами понесли его к другому, стоящему черной глыбой без единого огонька. Видать по всему, смотрели его хозяева уже не первый сон. Нашаривая в темноте сеней дверную скобу, Иван неожиданно зацепил пустое ведро. Оно качнулось на полке, грохнулось на пол. Пустив матюга, Чурилов принялся шарить по карманам в поисках спичек. За этим занятием и застал его Михаил. Он стоял на пороге в нательном белье, зябко перебирая босыми ногами. Недовольным, ворчливым голосом человека, которому перебили сон на самом интересном месте, буркнул:

— Ты чего, набрался?

Из комнаты в кухню выглянула Аннушка в длинной до пят сорочке, с розовыми продавами от подушки на щеке. Смерила Ивана презрительным взглядом с головы до ног.

— Напьются, черти, а потом шарахаются, как полуношники.

Задержув ситцевую занавеску, расписанную незатейливыми блеклыми анютиными глазками по желтому полю, которая разделяла спальню от кухни, прошлепала босыми ногами к кровати, попыталась прислушаться к голосам из кухни, но мужики говорили тихо. До нее доносился лишь невнятный шорох, бормотанье. Будто кто-то бубнил в пустую бочку.

С Михаила сон как рукой сняло. Остатки его улетучились с первой затыжки самокрутки. И сразу после этого мысли заработали четко, хотя все еще рядом бубнил Иван, расхваливая соболей. Михаил и без него знал их цену. В городе, когда последний раз летом встречался со своим постоянным клиентом, тот заикнулся:

— Слыхал я, что кое-где разводят черных соболей. Если добудешь такого — тройную цену заплачу.

Хитрый у него был покупатель. Видать, не малые деньги потом имел за его, Михайловы, шкурки. Но Бедарев считал: лучше иметь дело с одним надежным человеком, чем самому каждый раз рисковать. Потому и перед ценой не стоял, спускал на комиссионные.

Размышляя о том, как удивит своего партнера, выкинув на стол настоящих баргузинских соболей, твердо решил: цену сам назначу. А Ивану бросил коротко:

— Кончай трепаться, и так все ясно.

Чурилов замолчал на полуслове, уставился на кума.

— Завтра с утра мотай в Богдановку. Скажи Колышкину — заболел Бедарев. Руку, мол, на лесосеке подвихнул, распухла здорово.

— Передам. А дальше?

— Дальше Николку в гости ждать будем. Должен прийти, думаю.

С этими словами Михаил встал, прошелся по кухне. Потом остановился напротив Ивана, потоптался в раздумье.

— Давай, Ванька, на боковую отправляйся, — неожиданно обрубил он. — Время-то позднее.

Сделать за одну ночь солидную опухоль на руке было для него проще пареной репы. Никто не знал об этом в Коврижке, кроме Михаила. А он берег способ этот до времени. Раньше прибегать к нему не было никакой нужды, а нынче, видать, придется на себе спробовать...

* * *

Колышкин был не в духе. Два дня назад он вернулся из леспромхоза, где начальник дал ему выстойку на ковре. Участок проваливал план заготовок, а тут еще лесничий добавил масла в огонь: залезли просекой в запретный кедровник.

Но Петр Иванович знал и другое: виду показывать своим нельзя, на смех поднимут. И, чтобы этого не случилось, не сорвалась случайно жалоба с уст, решил и он малость своих пошерстить. Мало ли что три трелевочника вышло из строя. Другие должны крутиться без остановки. И в эти два дня, что прошли после его приезда из управления, многим досталось на орехи. А по Богдановке и Коврижке прокатился слушок, будто накрутили начальнику участка хвоста по первое число. Но никто от этого не испугался, не сжался в комок. Работа на лесосеке заметно оживилась, хотя и делать больше положенного мужики не спешили.

Укрепилось издавна у мужиков мнение: план начнешь перекрывать, дадут заработать месячишко-другой, а там, глядишь, поднакрутят нормы. Так и работали: в передовики не лезли, но и в хвосте не тянулись.

Но от того, что думали лесорубы, на душе у Петра Ивановича легче не становилось. И потому, наверное, он коршуном накинудся на Ивана Чурилова, который ввалился в конторку участка:

— Ты чего не на лесосеке?

Взгляд у Колышкина был жгучий, и Чурилов зябко поежился.

— Бригадир послал новую «Дружбу» получить, а то одна у нас совсем рассыпалась, — протянул Иван требование начальнику участка. Колышкина словно кто крапивой стегнул.

— Всем давай, одному мне только хрен с редькой достается.

— Бригадир послал, я-то что... — забубнил Иван.

— Заладил свое, как баба на базаре, — Колышкин, пробежав взглядом по бумажке, чиркнул в уголке свое «добро».

— Вали скорей на склад. И чтобы живой ногой был на лесосеке.

Иван подхватил требование, которое от резкого движения Колышкина отлетело на край стола, сбил шапку с затылка на лоб и шагнул к выходу. Уже держась рукой за дверную скобу, спохватившись, хлопнул себя по лбу:

— Запаятовал совсем, Петр Иванович... Бедарев наказывал передать — прихворнул малость.

— Опять с похмелья мается?

— Да не пили мы вчера, получка-то еще не скоро. Руку он подвихнул в лесу. Думал, пройдет, а ее за ночь раздуло, смотреть страх.

Петр Иванович всколыхнулся за столом.

— Этого еще не хватало, мать вашу так... Что же он голову свою дурную под лесину не сунул, уж все едино отвечать.

Несчастных случаев на работе Колышкин боялся больше всего. Хватит одного раза, когда Козлов по пьяной лавочке на тракторе наехал на спящего в малиннике Касьяна Корженкова. Таскали тогда Петра Ивановича по разным инстанциям почти три месяца, всего натерпелся. Напоследок начальник леспромхоза пригрозил: еще один такой случай, пощады не жди.

— Сафронов акт составил?

— Какой акт? — растерялся Иван.

— О несчастном случае, спрашиваю, есть акт или нет?

— Должно быть, нет, — пожал плечами Чурилов.

— Передай Сафронову, пушай акт не составляет. А Бедарев вдругорядь не будет на лесосеке ворон ловить. Нехай идет по бытовой травме. Так и бюллетень пусть оформляет у фельдшерицы.

— Ясно, Петр Иванович.

Колышкин отмяк и уже спокойным, чуть с шутливой ноткой в голосе, проговорил:

— Ну, давай, проваливай. Неча на меня zenки пялить.

* * *

Утром Грохотов поспешил в район. Там его ждала еще партия соболей. Их нужно было расселить в районе Большого Таскыла.

— Надеюсь, справишься, — сказал Грохотов на прощание. — Только людей попроси у начальника участка...

Вот почему, как только уехал на лошадке в районный центр охото-

вед, Николай отправился в контору к Колышкину. Встретил Колышкин его неласково. Как ни упрашивал Николай дать ему двух-трех человек, чтобы вывезти соболей в тайгу, уперся, словно колодина — с места не сдвинешь:

— У меня свой план горит!

На том бы и разошлись. Но когда Говоров, расстроенный вконец, махнул с обидой рукой, Колышкин вдруг вскинулся за своим шатким столом, прикрытым осколками канцелярского стекла:

— Я тебе вот что посоветую... Бедарев руку, говорят, подвигнул. На лесосеке он не работник, а тебе, глядишь, поможет.

Вот так и пришел к Михаилу егерь со своей бедой. На месте другого, Николай был в этом уверен, Бедарев наверняка отказался бы. А Михаил лишь извиняющимся тоном вымолвил:

— Это дело можно обставить, да только помощник я нынче никудышный, руку саднит, гляди...

Рука у него была синюшная, раздувшаяся. Он пошевелил разбухшими пальцами.

— Пару бутылок коли поставишь, так выдюжу.

Николай обрадовался:

— Какой разговор!

— С этого бы и начинал, — и Михаил озабоченно поинтересовался:

— Кудой наметил их выкидывать?

Слушал Бедарев внимательно. Иногда в знак согласия одобрительно кивал головой, а то удивленно поджимал губы. И тогда Николай торопливо прикидывал, где допустил промашку.

— Малиновую сопку не зря приметил. Место подходящее, — заговорил Михаил, когда Николай закончил свой рассказ. — А вот речку Бунгарап надо выкинуть: не смыкается она нигде с коренной тайгой, окромя как через Томь. А соболю, сам знаешь, тайгу цельную любит.

Николай был удивлен точностью оценок Михаила. А тот продолжал:

— На Горячем Ключе бывал, где лосей много?

Николай кивнул.

— Вот там и надо боле всего соболя оставить: место глухое.

До Горячего Ключа вниз по течению Томи двадцать с гаком километров наберется, да еще с пятак по бурелому, в сторону белков путь держать надо. Места там нетронутые. Кругом крутолобые сопки, скалы, лучшего для соболя не сыскать.

День клонился к концу. В тайге стало сумеречно. Ясные четкие тени на снегу размазались, растушевались, когда Николай и Михаил остановились под могучим кедром, притулившимся к самой скале.

— Вот здесь и затаборимся, — сказал Михаил и осторожно снял с плеч рюкзак, в котором находилась клетка с двумя соболями, — пока попьем чайку, совсем темно станет.

Выпускать соболей только с наступлением темноты — таков был наказ Грохотова.

Пока Николай устраивал нодью, чтобы спокойно всю ночь можно было отдыхать у костра, Михаил широким охотничьим ножом рассек двух рябчиков, которых подстрелил мимоходом. Когда Николай посмотрел на него удивленно, объяснил коротко:

— Надо прикорм оставить: место новое, не сразу соболев освоится, а тут мяско готовое...

Чай вскипел быстро. Николай нарезал пристылый хлеб, из-за пазухи достал бутылку водки:

— Как думаешь, обмыть это дело полагается?

Михаил от удовольствия крякнул:

— Уважил, ничего не скажешь.

Николай расплескал содержимое по кружкам. Михаил поднял свою, нюхнул и, прищурив глаза, потянулся к Николаю:

— Чтобы прижились на ключе соболишки.

Выпили. Отправляя в рот кусок сала, Бедарев спросил:

— Ты кому-нибудь говорил, где хочешь расселить соболей?

— Только с дедом Мефодием советовался. А что?

— Вот и хорошо. Больше никому не трепись.

— Это как понять?

— А вот так,— сбил на затылок шапку Михаил.— Народ у нас лихой, на все способный. Ты, к примеру, расселяешь этих соболей, а кто-нибудь другой тем часом им уже совсем другую прописку может устроить.

— Брось! — не поверил Николай.

— Потом попомнишь мои слова,— Михаил потянулся за отставленной на бревно нодью кружкой с чаем.— И старый пенек пущай язык за зубами попридержит.

Слова Михаила запали в душу Николаю крепко. По-новому начал он смотреть на людей. К каждому прикидывал свою мерку: может ли напакостить ему человек? Но пока из этой прикидки ничего не получалось. Мужики погалдели, поговорили о соболях, что привезли егерю, и будто начисто забыли о них. И была на то причина: Колышкин рвал и метал, чтобы наверстать план. Поэтому и интерес к соболям сам по себе погас: не до них мужикам в Коврижке стало. С темна и до темна были в тайге, наверстывали план заготовки древесины. Только и выпал выходной день. Для Николая и Михаила это был последний поход на Горячий Ключ. А там пару раз мотнуться на Малиновую сопку, и все — могут соболишки осваивать тайгу, плодиться.

Они увязывали рюкзаки с клетками, когда на пороге появился Пронька Ветров.

— Бог в помощь,— бросил он и потянулся за кисетом,— зверушек, стало быть, на жилье определяете?

Николай охотно ответил:

— Да вот собираемся в последнюю ходку.

— А кудой лыжню тянуть будете?

Говоров хотел сказать, что путь их лежит на Горячий Ключ, но Михаил опередил его:

— На Кудыкину гору,— и недовольно засопел, обкладывая ветошью клетку.

— С цепи сорвался, че ли? — протянул Пронька.— Мужики говорят, тяжко вам приходится на горбу клетухи таскать. Думаю, дай в выходной помогу. А тут кобелем травить зачали.

— Да ты не сердись, Проня,— сказал Николай,— рука у него болит, натрудил здорово.

— Ежели болит, так уж и лаяться надо на каждого,— не отходил Ветров.— Слова вымолвить не дает.

— А че раскудахтался, как курица на насесте,— вскипел Бедарев.— Хошь помочь, мотай за лыжами.

Пронька хлопнул себя ладонями по бокам:

— А ить и верно, за лыжами шуровать надоть,— и, распахнув дверь, уже из сеней крикнул: — Я моментом смотаюсь...

— Вот гад,— выдохнул Михаил.— Лихо подкатился!

— А что он может сделать?

— Я тебе рази не говорил? Опаску завсегда иметь надо. Теперича потянется следом, все высмотрит.

— Обижать подозрением человека тоже нехорошо,— сказал Николай.— Надо нам просто маршрут сменить. Тогда и Проньку не обидим, и соболи в сохранности будут.

— Об этом и я думаю,— поддержал егеря Михаил.— Пойдем на Малиновую сопку да в разных местах раскидаем. Эдак надежней будет.

Пронька словно и не бегал домой, а просто вышел из избы на минутку. Таежному человеку в путь собратъся недолго: краюху хлеба, кусок сала да ружьишко за плечи закинуть. Вот и все сборы. Остальное тайга даст. Все в ней человек возьмет, если привычен к ней.

Поднимались на увал долго. Сухой снег, словно просяная полова, проседал под лыжами, каждый шаг давался с трудом. Когда взобрались наконец на хребтинку, упарились. Присели рядком на сухостоину, задымили самосадом. Табачный дым густыми облаками потянулся к морозному небу.

— Спустимся с увала, пройдем ложком чуть вверх по ручью,— предложил Михаил.

Николай согласился:

— Я покачу первым, пробью лыжню.

Он толкнулся пару раз, и лыжи сами вынырнули из снега. Крутизна у сопки небольшая, но ехал Николай под гору быстро, ловко уворачиваясь от густых кустарников и валежин, торчавших на пути.

Михаил, когда скрылся за пихтами егерь, повернулся к Проньке:

— Ты че суюдой присунулся?

Пронька с независимым видом чикнул слюной на снег.

— Антирес имеется.

— Знаю,— устало махнул рукой Михаил,— только навару у тебя не получится.

— Не жадничай. На тех, что по ключику раскидали, не позарюсь.

Бедарев вздрогнул:

— Это ж какая стерва тебе про Горячий Ключ донесла?

— Рази в том дело,— пожал плечами Ветрсов.— Ну так как, договорились?

Бедарев помолчал, поскреб здоровой рукой щетинистый подбородок:

— Изворотливый, ты, Проняха, ниче не скажешь. Будь по-твоему.

И, чтобы поставить точку в этом нелегком для обоих разговоре, с хрустом поднял с валежины затяжелевшее тело:

— Пошли догонять Николку...

* * *

Последняя ходка на Горячий Ключ была самой тяжелой. Николай и Михаил вымотались порядком, коротая ночи у таежного костерка под открытым небом, пробивая лыжню по мягкому глубокому снегу. И когда до Коврижки оставалось рукой подать, присели прямо на лыжи, чтобы перекурить перед последним рывком. Пуская сизые клубы табачного дыма, Михаил блаженно протянул:

— Сейчас привалим до дому, баньку примем...

— Это здорово,— поддержал его Николай.

Но попариться в баньке не пришлось. Еще не снимая лыж, Николай почувствовал: что-то недоброе случилось в доме. И с этим предчувствием шагнул в сени, привычно протянул руку к дверной скобе.

Каждый раз, когда приходил Николай из тайги, Васянька с Петянькой черноголовыми стрижами порхали вокруг него. А сейчас у Петяньки даже глазенки не блеснули радостью. Из горницы доносилось приглушенное всхлипывание.

— Что случилось, Петянька?

Тот еще ниже опустил голову, ковыряя носком валенка коврик.

— Васянька помирает...

Николай кинулся в горенку. Над кроваткой, в которой разметался в жару Васянька, склонилась Дуняша. У Васяньки было осунувшееся, почерневшее лицо. Вокруг глаз легла синева. И губы синие, без единой кровинки.

Николай опустил на подрагивающие плечи Дуняши руки, но она словно не слышала этого прикосновения и лишь вздрагивала время от времени, как будто по ее телу пробегала волна тока, шептала:

— Господи, да за что же мне такое наказание?

Николая поманила фельдшерица Вириная Павловна, которую он не сразу заметил.

— Положение критическое,— сказала глуховатым голосом Вириная Павловна, когда они вышли из горенки,— даже не могу точно диагноз определить: крупозное воспаление легких, а, может, и менингит.

— Да как это случилось?

— В прорубь влетел, которую снежком припорошило. Хорошо еще на лед сумел выбраться, добежать до дому...

— И что теперь?

Фельдшерица тяжело вздохнула:

— В Богдановке рация вышла из строя. Колышкин обещал завтра дать машину, если дела не пойдут на поправку.

— Это как так завтра? Да, может, завтра...

Виринея Павловна всплеснула своими пухлыми, пахнущими аптекой руками:

— Чего вы на меня кричите? У Колышкина спросите, я-то при чем?

— И спрошу, сейчас же спрошу.

Он рывком натянул куртку из колючего серого сукна, надвинул на самые глаза шапку.

Колышкина Николай разыскал на нижнем складе. Загнанная в мыло Пеструха, которую он взял у Мефодия, поводила запотевшими боками. Чтобы не застудить ее, Николай скинул с себя куртку, протер почерневшие бока, накрыл сухой стороной круп. Колышкин краем глаза следил за егерем. Он сразу понял, зачем тот примчался на нижний склад. И как только Говоров направился в его сторону, замахал руками:

— Напрасно лошадь запарил, нет у меня машины на сегодня.

— Это почему же, Петр Иванович?

— А потому,— вскипятился Колышкин.— На приколе стоят. Ни одной бортовухи справной нет.

— А лесовозы?

— Ишь чего захотел,— присвистнул начальник участка и сухо обрубил: — Не могу седни лесовоз дать, план горит.

Обидой налился Николай и, не давая себе отчета, судорожной клешней сгреб на груди Колышкина фуфайку:

— А ну, повтори, что сказал...

Колышкин побагровел:

— Ты не больно руки распушай. Ежели кажинного бояться, до ветру замучаешься бегать.

Николай снова с силой потряхнул его за грудки.

— Случится что с мальчишкой, я тебе в жизнь не прощу. Понял?

В это время, скрипнув тормозами, остановился «Урал» Никифорз Пожидаева.

— Ты чего, Николка, начальство давишь? — прокричал Никифор из кабины.

От неожиданности егерь резко отпустил Колышкина. Качнувшись в сторону, одернув расхлостанную фуфайку, Колышкин рысцой подлетел к кабине:

— Че зубы скалишь? Разгрузился, и шуруй себе на лесосеку.

Пожидаев, не замечая грозного начальника, подмигнул Николаю, словно ища в нем сочувствующего:

— Во дает прикурить. Вкалываю по две смены, а вместо премиальных — аванс матюгом выдают.

— Ты думаешь, я от веселой жизни ору? — попытался оправдаться Колышкин. — Сам, поди, знаешь — план горит. Пока ты здесь прохлаждаешься, трелевочник на лесосеке простаивает!

Когда вновь загудел мотор пожидаевского «Урала» и запахло плохо отработанным соляром, Николай стремительно метнулся наперерез:

— Стой, Никифор, стой!

— Вы че, сбесились? — протянул Пожидаев, убирая газ. — Один в тайгу гонит, другой — не пускает...

— У нас с Васянькой беда, в больницу надо срочно, а он, — кивнул Николай в сторону Колышкина, — машину зажимает.

За спиной у Николая, дыша прямо ему в затылок, появился Колышкин:

— Ты че горючку зазря жжешь, сказано — поезжай!

Пожидаев, словно не замечая злого тона начальника участка, спросил:

— Ты лучше толком объясни, почто машину не даешь?

Колышкин яростно хлопнул себя по бокам:

— Так уж сколько сказывал: план горит!

— Так... — протянул Никифор, и его голова исчезла в кабине. Было слышно, как он гремит в бардачке какими-то гайками, что-то перебирает. Через минуту-другую, в течение которых Николай и Колышкин не обмолвились и словом, с треском распахнулась дверца кабины. Пожидаев прыгнул на землю, протянул Колышкину замасленный путевой лист:

— Подпиши до райцентра.

Брови у Колышкина исчезли под шапкой:

— Это еще с какой стати?

— А с той самой, что забыл ты, Петр Иванович, закон таежный. Живем мы здесь своим миром, кажинный друг дружке в беде помочь должен.

Николай почувствовал, как от волнения щипнула боль сердце, а к горлу подступил комок. Колышкин же, поскребя в затылке, забрал путевой лист, привалился на крыло машины. Вывел трясущейся рукой кривые строчки в путевке, запричитал:

— В гробу я видел эту работу. Вот только до отпуска дотяну, а там пушай кого хотят в начальники ставят. Надоело быть в каждой дырке затычкой, нервов моих не хватает!

* * *

К Коврижке Николай подходил лишь к концу дня. Солнце, словно соскучившись от одинокого пребывания за тучами, раскололо их яркими, но не жаркими лучами, пробилось к земле. И вокруг засверкал праздник. Никогда раньше не замечал Николай за собой, чтобы вот так вдруг волной поднималась в нем радость от вида Коврижки, от того, что синий дым прямыми столбами уходит в небо, исчезает на такой высоте, что если посмотришь — шапку потеряешь.

Первым Николая увидел дед Мефодий. Приткой козлиной походкой протрусил он от своей избы наперехват егерю и, подддерживая под полущубком сползающие с тощего зада штаны, заступил дорогу.

— Никак с району? Васянька-то оклемался?

— Спасибо Никифору. Не он, было бы поздно.

Дед поскреб пятерней за ухом:

— А Дуняха?

— Подождет, когда Васяньку домой выпишут. У Грохотова живет пока.

— Ясно, — протянул Мефодий и затоптался перед Николаем. Потом, хлопнув себя по лбу, чертыхнулся:

— Тьфу, старый пенек, — ругнул он сам себя. — Ты, чать, не емши весь день, а я тут тебе допрос сымаю.

— Это точно, — сглотнул слюну Николай, — до Ажendarова на машине добрался, а дальше на своих двоих топаю...

— Ну и пошли в избу, чего канитель разводить? — подтолкнул Мефодий Николая и блаженно потер ладони. — Счас бабку обрадуем, она нам, глядишь, бутылочку какой-нибудь травки выставит.

Узнав, что с Васянькой все обошлось благополучно, Настасья вдруг съежилась, приткнулась к печи, заплакала. Рядом топтался растерявшийся Мефодий, не зная, как подступиться к старухе. И, словно оправдываясь перед Николаем за такую непредвиденную заминку, проговорил удивленно:

— Ну и бабы. Ить что беда, что радость — им одна услада, слезу пустить. Рожают — ревут, хоронят — тоже. С мужиком первый раз в постелью ложатся — рев. А здеси не плакать надоть, отметить чем по закону полагается.

Настасья, поведя морщинистой ладошкой по лицу, размазала слезы:

— Так ить с радости плачу. Васянька с Петянькой для меня, что внуки: егозят перед глазами — на душе легко.

Она долго шарилась со спичками в кладовушке, вытащила на свет божий бутылку с какой-то зеленоватой жидкостью.

— Так и быть за добрую весточку, — сказала она.

Дед скосил глаза на бабку, потом перевел взгляд на Николая, хитровато подмигнул:

— Я че говорил, у моей старухи завсегда заначка есть!

— А как же, — незлобливо отозвалась Настасья. — От тебя, холеры, коли и спрячешь, так ты все едино докопаешься. Вот только енту и не мог найти, я ее в старом пиме сберегала. Маралий корешок на спирт настоен. Для здоровья пользительный, пейте.

Пили неторопливо, аппетитно похрустывая солеными огурцами, замороженным до стука салом, рассыпчатой картошкой. Отодвинув в сторонку пустой стакан, дед задумчиво протянул:

— Вот бы глянуть, как там соболишки. Поди радуются, что на свободе очутились, осваивают тайгу помалу.

— А как же, — поддержал Мефодия Николай и вспомнил: обещал угостить Михаила за помощь.

«Узнает, что приехал и не зашел в гости — обидится», — подумал Николай и поднялся из-за стола. Дед удивленно вскинул захмелевшие глаза.

— Кудой это ты?

— До Михаила добегу, надо мне...

— Ааа... — протянул Мефодий. Он сытно икнул и костяшками пальцев постучал по недопитой бутылке. — Только недолго, а то бабка прикроет лавочку.

На дворе стояла ночь. Воздух был влажным, и звезды подслеповато мигали над головой.

Михаила дома не было. Анна объяснила:

— На Терассный поехал к тестю, а когда вернется — не сказывал.

Говоров неторопливо шагал по засыпающей Коврижке. Стояла привычная тишина. Даже собаки уgomонились, забились на ночь в теплые уголки. И вдруг Говоров увидел, как от кромки тайги отделилась черная тень. Она скользила в сторону Коврижки, и Николай уловил скрип снега, проседавшего под лыжами. Еще не сознавая, зачем он это делает, Николай, скрадывая шаги, устремился навстречу. Успел вовремя. Пронька Ветров, которого он узнал с трудом, снимал напротив своего дома камысные лыжи. За спиной поблескивала двустволка.

— Привет охотнику!

— А, это ты, Никола, — протянул Пронька лениво. — Здорово!

— Что так поздно?

— А тебе-то что, не все равно?

— Уж не соболей ли бегал проведывать?

Пронька резко дернулся:

— Мне до твоих соболей дела нету.

— А что же тогда крадучись из тайги идешь?

Ветров замялся, раздумывая, говорить или нет. Потом, видимо, решившись, махнул рукой.

— От тебя один черт не спрячешься. Ловухи на рябчика проверь.

— Стало быть, давишь потихоньку птицу?

Пронька стоял насупившись.

— Так ведь в тайге живем, не я — другой возьмет...

— Ты на других не кивай, — перебил его Говоров, — тебе за это дело штрафа вlepить мало. Привыкли тайгу за собственный амбар считать, все подряд из нее выгребать. А ведь никто из вас в амбар этот и макового зернышка не положил.

— По-твоему, выходит, что нашему брату и поохотничать нельзя?

— Почему же, — возразил Николай, — Я тебе даже в заказнике разрешил бы охотничать. Подстрели пару рябчиков, глухаря. Только ведь тебе мало покажется, ловушки и там поставишь. Так ведь?

Ветров в знак согласия кивнул головой.

— Ладно, сыму ловухи, так и быть.

— Сыму ловухи, — передразнил он Проньку. — Да я их сам поломаю при первом же случае.

Николай шел к мефодиевскому дому с твердым решением: завтра же пройтись по Пронькиному следу. Может быть, лыжня расскажет, о чем умолчал Ветров. С этой мыслью он и распахнул дверь в избу.

Мефодий с нетерпением ожидал Николая. Едва тот появился на пороге, дед встрепенулся за столом, словно старый филин.

— Где тебя нелегкая носит? — качнулся на скамье, поймал нетвердой рукой горлышко бутылки. — Давай по махонькой...

— Спасибо, не хочу больше.

— Это как понимать прикажешь? — удивился дед. — Гребуешь?

— Да ты что! — смутился Николай. — Просто в тайгу мне завтра обязательно сходить надо. Видел сейчас Проньку Ветрова, из тайги пришел.

— Ну и что из того?

— А ничего, хочу по лыжне его пройти, посмотреть, чем он там занимался?

— Это ты правильно скумекал. Об одном упредить хочу: тайга пока не твой родной дом, так что поопасись на случай. — И сделав в разговоре крутой поворот, позвал из горенки Настасью: — Слышь, мать, Николка завтра в тайгу идет, собери его.

Настасья, выйдя из горенки, в которой было темно, близоруко щурила глаза.

— Да ты чего это не отдохнувши в тайгу надумал?

— Будя балаболить, — оборвал бабку Мефодий. — Сказано: собери в дорогу.

* * *

Еще потемки хоровод вели, когда Николай, вскинул на плечи рюкзак с Настасьиными пирогами, постучал валенками по полу, уминая поудобней ногами портянки. Настасья, зябко поеживаясь со сна, уговаривала:

— Можь, не пойдешь, Николай. Пуржить начинает, слышишь?

Но потому-то и спешил Николай, боялся, что та ниточка, за которую ему удалось зацепиться, может внезапно оборваться. Припорошит снежком Пронькину лыжню, и никогда не узнает Николай, откуда путь держал Ветров, что делал в тайге. Поглубже натянул шапку, махнул рукой:

— Вечером вернусь.

Поземка еще не разгулялась. Она лениво тянула по улице жиденькие струйки снега. Но Николай знал: медлить нельзя. Пурге разыграться времени много не надо. Только с силенками соберется, а там уже держись, запуржит так, что белый свет с овчинку покажется.

Слабый худосочный рассвет едва забрезжил над поймой реки, когда Говоров быстро проскочил открытое пространство речного льда и от удачи, что не потерял Пронькин следок, оживился, повеселел. Он старался приметить все, о чем рассказывала лыжня. Но пока прочитать удалось немного. В одном месте Пронька присел на валежину, отдыхал. Говоров увидел вмороженный в снег, заледенелый окурочок самюкрутки. А вот лыжня вильнула в сторону, и егерь заметил ловушки.

На тонком пихтовом стволе, укрепленном между двумя деревьями в горизонтальном положении, все ветки снесены ударами топора или охотничьего ножа. И лишь две оставшиеся образуют подобие вен-

ка, в центре которого красуется яркая гроздь рябины, а рядом — тонкая волосая петля. Нехитрая снасть, но о безотказности ее в работе Николай знал давно. Ударом палки он переломил хрусткую пихтовую вершинку, венки с рябиной притоптал лыжами в снег. Так он делал каждый раз, когда на пути попадались ловушки.

А вот здесь Пронька долго топтался на месте, что-то разглядывал. Всмотрелся и Николай. На сером, без единой тени, снегу он с трудом различил уже порядком припорошенный соболиный следок. Сытый зверек тянул крупными прыжками, видать держал путь к теплему логову после успешной охоты. Рядом с его следком потянулась Пронькина лыжня, и Николай весь напряжился, до боли в глазах стал всматриваться в снег, примечая мельчайшие детали. Шел Пронька не торопясь, прикидывая, где может быть лежка соболя.

Вот следок взял направление к большому завалу. Здесь Ветров остановился, затем описал широкий круг, обходя стороной завал. Николай догадался, искал Ветров выходной след, проверял, где находится соболя. Выходного следа не оказалось. Сытый зверек завалился на боковую. «Смотри в оба», — скомандовал сам себе Николай, и тут же выдохнул: — «Есть!».

Вроде и не подходил Пронька к соболиному следу — так ловко припорошил лыжню, замаскировал ее пихтовыми иголками, трухой лишайника. Капкан был поставлен мастерски. Пойдет зверек своим следком снова после охоты, не минуя стальных челюстей. Николай легким прикосновением лыжной палки продавил снег в сдвоенном следке, хрюснула пружина капкана, впившись мертвой хваткой в древесину. «Сволочь, — подумал Николай, выдергивая капкан вместе с потаском. — Я тебе покажу ловушки на рябчика!».

В рюкзаке за спиной уже глухо постукивало десяток капканов, когда лыжня, описав большую дугу по распадкам Малиновой сопки, потянула к дому. Сбылось, значит, предупреждение Бедарева. «А разве не могли добраться и до Горячего Ключа?» От этой мысли стало тоскливо на душе. И, круто свернув с Пронькиного следа, Николай подался на Горячий Ключ.

* * *

Вот уж который день бродит Иван Чурилов по глухим ложкам и распадкам Горячего Ключа, высматривает соболиные следы. И каждый раз, как вспомнит Михаила, восхищенно крутит головой, радостно подмигивает самому себе, что не ошибся, не промахнулся в дружбе с Бедаревым. Кто еще в Коврижке мог бы все так ловко обделаться с соболями, которых привезли егерю? Если б не Михаил, ищи-свищи в поле ветра, где эти соболишки поразбежались. А Бедарев все предусмотрел, разместил каждого зверька по своим ложкам. Теперь, пока егерь таскается где-то в районе, они с Михаилом этих самых соболишек к законному месту пристроят.

С этими мыслями спешил Иван по припорошенной лыжне, которая тянула в сторону глухого распадка.

Здесь стояла тишина, было сумрачно. Высокая гряда гор, словно

стена, отгородила ложок от ветра. Лишь снег мелкой пылью сыпал сверху, да где-то в стороне журчал свою песенку родничок, пробивая дорогу к Горячему Ключу. Еще не доходя до капкана, установленного рядом с лесным завалом, Иван почувствовал — впереди удача. Уже радуясь тому, что день сегодня прошел не впустую, Иван торопливо заскользил в сторону завала, перед которым сидел, изогнувшись дугой, соболь.

— Попался, миленький, — радостно бубнил Иван, пристраиваясь поудобней к зверьку, чтобы накрыть его.

Соболь грозно шипел, скалил хищные, острые, как лезвия бритвы, клыки. И от этого хищного оскала, от грозного фыркания радость билась в груди у Чурилова. Так бывало каждый раз, когда в капкане оказывался еще живой зверек. Было приятно прижать его к груди, ткнуть рукавицу в пасть, чтобы мог отвести душу соболь в предсмертном поединке с человеком, а второй рукой осторожно сдавить грудь соболя, почувствовать, как бешено бьется под ней маленькое сердце. Вот оно умерило свой бег, заработало толчком. Толк... толк... толк... И все. Нет хищного оскала, грозного хрипа.

— Ну, не сердись, — уговаривал ласково соболя Иван, подтягивая его к себе за потаск.

Соболь фырчит, заиндевелой мордочкой тычется бессмысленно в снег. Сейчас Иван перехватит половчей, накроет его. И вдруг, словно выстрел, раздался грозный окрик:

— Что ж ты делаешь, сволочь!

От неожиданности Иван замер, медленно повернулся на окрик. Из-под разлапистой пихты к нему не спеша подходил Говоров. Весь запорошенный снегом, глаза в злом прищуре, в руке — двустволка. У Ивана в горле стало сухо, словно кто-то сыпанул добрую горсть проклятого речного песка. Он покрутил головой из стороны в сторону, и сразу же егерь шевельнул стволами ружья.

— Чего по сторонам зыркаешь?

Иван хватнул воздух широко раскрытым ртом, попятился от егеря, но Говоров снова чуть шевельнул стволами, и Иван отчетливо увидел, как два черных ружейных глаза холодными зрачками уставились на него, равнодушно окинули с головы до ног, выбирая точку, куда верней плюнуть горячим свинцом. Ноги враз стали ватными, и, давясь от страха, Иван прохрипел:

— Пощади, Коля, христом богом прошу...

— Брось кривляться, — оборвал его Николай, — отпуская соболя.

Чурилов, не сводя глаз с егерьского ружья, стал шарить вокруг себя. Рука ткнулась в потаск, пробежалась по тонкой цепочке к капкану, в котором метался соболь. Иван разводил стальную пружину, а соболь, защищая жизнь, яростно полосовал его руки молниеносными ударами, после которых вскипала кровь, черными дымящимися каплями кропила снег. Но этой жгучей боли не слышал Иван. Он, словно за гипнотизированный, все делал автоматически, машинально.

Соболь, поджав под себя раненую лапу, еще раз полоснул по руке обидчика, а затем юркой змейкой исчез в снежном целике. Лишь

после этого почувствовал Иван обжигающую боль в руках. Он растерянно посмотрел на них, схватил в пригоршни снег, стал прикладывать к ранам. Снег моментально становился рубиновым, набухая кровью, парил, словно на него плеснули кипятку.

— Видал... — протянул он, поднимая глаза на Николая, в которых теперь вместо страха билась жалость к самому себе.

— На месте соболя я бы тебе их напрочь отгрыз, — процедил Николай сквозь сжатые зубы. — Давай двигай в Коврижку...

Иван поднялся с колен.

— Можь, уладим, Коля? — умоляюще протянул он. — Я тебе сколько хошь заплачу, только не губи...

— Это ты с судьей поторгуешься, — перебил его Николай, — а я по своему суду на этом бы месте и поквитался, чтобы другим неповадно было. Ружьишко-то свое скинь на снег.

Только тут Иван вспомнил, что за спиной у него двустволка. Медленно потянул ее за ремень.

— Не вздумай дурить!

Иван снова увидел нацеленные на него два холодных глазка. Суетливо заспешил, перехватил за стволы...

Они шли по косогору. Иван торил лыжню в сторону Томи, Николай шагал следом, не выпуская из поля зрения широкую спину Чурилова. Лыжи глубоко проваливались в рыхлом снегу. Иван постепенно успокоился, страх, сжимавший клещами горло, отступил. На его место пришло удивление. Никогда не мог понять Иван одного — каким образом подкараулил его егеря. Ведь по всем расчетам Михаила он должен быть в районном центре. «Никак сволочь какая-то по злобе продала», — подумал Иван и тяжело вздохнул.

— Не вздыхай, не на поминках, — подхлестнул его Говоров. — Надо было раньше думать, на что идешь.

Иван замедлил шаг.

— Не об этом вздыхаю. Любопытно дюже, какая падла могла про меня тебе доложить. Вроде никому плохого не сделал.

— Скажи Проньке Ветрову спасибо. Это он мне сначала свои капканы показал, а потом и твою тропку свернуть надоумил.

У Ивана даже дыхание перехватило.

— Что ж, выходит, Проньях приятелей не пожалел, проболтулся?

— Не проболтался, а поймался, — поправил его Николай. — Вот придем в Коврижку, а там у тебя с ним одна дорожка — под стражу.

Услышав эти слова, Иван угнул голову, медленно побрел по целику. Мысли скакали такой чехардой, что он никак не мог сосредоточиться. Не понял, каким образом поймался егерю Пронька Ветров, откуда он мог знать, где промышляют они с Михаилом? Понял одно, судьба-злодейка накинута на его шею аркан, того и гляди затянет петельку.

«А Михаил как? — подумалось. — Уйдет чистеньким? Потом еще руки довольно потирать будет, зная, что ни под какой пыткой не заикнется о нем Чурилов. А может, плюнуть на все, рассказать о Мишке?»

От этой мысли стало жутко: совсем четко увидел сумеречные глаза крестного, крупные желваки, взбугрившиеся на обветренных, почерневших от мороза скулах. «Не смей об этом и думать, — приказал себе Иван. — Попался, так уж помалкивай... А может, испытать счастье, уйти от егеря? Стрелять не должен, кишка тонка, чтобы поднять руку на человека, да и прав таких не имеет».

Взгляд прищуренных глаз Ивана стал зорким, уши ловили малейший шорох за спиной.

«Мне бы только Михаила упредить, вдвоем выкрутиться завсегда проще, — подбадривал он себя. — На увал поднимемся, рискнуть надо...».

Незаметно лыжня привела на водораздел Горячего Ключа и Черной речки. Иван быстрым взглядом окинул противоположную сторону склона. Где-то там, в одном из ответвлений, должен сейчас быть Михаил. «Жаль только, ружье у егеря останется. Ну да ладно, лишь бы самому дай бог ноги унести», — подумал Иван, прицеливаясь поточней, чтобы вихрем сорваться с увала.

Николай катил следом за Иваном наискосок по увалу. Усталость брала свое, дрожали колени, ружье отмотало руку. Чтобы половчей было ехать, он закинул его за спину, где болталось чуриловское.

Дальше все произошло с молниеносной быстротой. Чурилов резко метнулся вправо, где далеко внизу, у самого подножия склона, чернел густой пихтач.

Николай рванул из-за спины ружье, крикнул вслед виляющему в кедраче Ивану: «Стой!» Иван еще ниже присел на лыжах, чтобы набрать скорость. И тогда Николай повел стволом следом за Чуриловым. Два раскатистых выстрела прогремели один за другим. Иван вильнул в сторону и вдруг, широко разведя руки, грохнулся со всего разгона в снег. На какое-то мгновение Николай растерялся. «Не может быть, чтобы зацепило рикошетом, — подумал он. — Ведь поверху стрелял». Откинув в снег мешающие ружья, круто свернул в сторону лежащего неподвижно в сугробе Чурилова.

* * *

Михаил шел по другую сторону лога и собирал порожние капканы. Видать, соболь надолго залег в своих теплых норах, пока не наладится погода.

Под кустом рябины, на которой еще рубиновыми низками сохранились гроздья ягоды, Михаил увидел несколько ямок. Рябчики, поклевав сладкой ягоды, бухнулись вчера вечером с куста в снег, решили пересидеть длинную ночь. Да, видать, для одного из них теплая постелька в последний раз послужила. Михаил разглядел припорошенный соболий следок. Шел соболь сначала размашистой двойкой, но, не доходя несколько метров до рябинового куста, притормозил, потоптался на месте, выбирая удобную позицию. А вот и то место, где разыгралась борьба. Короткая и жестокая. Михаил отчетливо уловил преснирку во рту от свежей крови, словно он, а не соболь сжимал

в зубах еще трепыхающуюся добычу, затаскивая рябчика под пихту. Там снег истоптан. Лишь серенькие, с черными крапинками перья говорили о том, как, должно быть, славно попиrowал соболишко, прежде чем забиться в свою нору, откуда его по такому снегу ни собакой, ни огнем не выманишь.

А дальше лыжню пересек другой след, в добрый кулак, с отчетливыми метинами кривых когтей. Рысь! Рука Михаила машинально потянулась к ружью.

Не впервые встречает в распадке Горячего Ключа этот след Михаил. И каждый раз зорко осматривается по сторонам, ждет случайной встречи. И сейчас подумал — надо будет с Иваном обложить кроважадную кошку, а то еще соболишек позорит.

В это время с противоположной стороны распадка глухо ударили два торопливых, почти дуплетом, выстрела. Михаил остановился. Стрелять мог только Иван. Уж не наскочил ли на рысь?

Михаил представил, как она, распластавшись в полете, летит на Ивана. Чтобы остановить этот стремительный прыжок, только и мог так хлестнуть дуплетом Иван. А если не остановил?

Михаил переломил ружье, вместо патронов с дробью загнал два жакана. Щелкнув замком, он, ломая хрусткий кустарник, метнулся на ту сторону распадка.

Скатиться по крутому склону сопки было делом минуты. Михаил спешил. Колючие ветки пихт больно хлестали по лицу. От быстрого бега не хватало воздуха.

И вдруг внимание Бедарева привлекла прямая, как стрела, лыжня. А потом другая, проложенная размашистым зигзагом.

Не мог же Иван сначала, вихляя из стороны в сторону, скатиться по крутому откосу, а потом рассечь его напрямую. Кто-то другой протянул ее. Кто? Теперь Михаил не спешил. Затаив дыхание, он осторожно покатил по незнакомым следам.

Лыжня уходила под разлапистую пихту. А рядом, уткнувшись прикладами в снег, торчали два ружья. Михаил потянул одно за ствол — Ивановская «тулка». Ее он мог узнать из тысячи ружей: вязь из медной проволочки на цевье, на левой стороне приклада четыре крестика. Проволока появилась в прошлом году, когда Иван добывал глухаря-подранка прикладом. Цевье хрустнуло, и его пришлось стянуть. А крестики — это Ивановские медведи.

Прихватив «тулку» дружка, Михаил нырнул под широкие лапы пихты. Через небольшой просвет он увидел кусочек поляны. Там, у сухостоины, катаясь в снегу, скулил Чурилов. Рядом стоял Николка Говоров. Михаил понял — сгорел Иван. А тот, елозя в снегу на коленях, пытался разжалобить егеря.

— Ить ногу вывихнул из-за тебя.

— Сам виноват, не будешь бегать.

— Так ить как не побежишь, коли жалости в тебе нет.

— Напакостил — отвечай, — перебил его егерь. — Поднимайся, нечего тут цирк устраивать!

Иван всхлипнул, опустил голову, но тут же вскинулся:

— Послушай, думаешь, ежели меня с Пронькой прихватил, так на этом и все дело кончилось?

— Ты о чем?

— Да все о том, чтобы поладить с тобой...

О чем говорил Иван присевшему рядом с ним на корточки егерю, Бедарев не слышал. Николай неожиданно дернулся и, отмахиваясь от Ивана рукой, заговорил возмущенно:

— Брось дурака ломать, в жизнь не поверю, чтобы Михаил мог такое сделать!

Следом за ним тянулся Иван, убеждал:

— А я тебе истинную правду говорю, его это затея на Горячем Ключе...

Михаил лихорадочно стал прикидывать, как отвести беду, которая так неожиданно-негаданно подстерегла его. Тряхнул головой, поднял Ивановское ружье и повел стволами в сторону егеря.

На Николая у него обиды не было. И злости тоже. Пока прицеливался поточней, подумалось: «Ни за понюшку мужик сгинет...».

Не хотелось думать, как потом дело повернется. Все равно отступать было некуда. В одном Михаил винил себя в тот момент: ошибся в дружке, не заметил слабину. С головой готов продать его егерю, лишь бы свою вину умалить, меньший грех взять на душу. Привычно толкнуло в плечо. Глаз Михаила автоматически отметил: дернулся от резкого удара егерь и шапка отлетела далеко в сторону. Вяло подкосив ноги, кособочась, егерь сунулся в снег. Еще Михаил увидел, как винтом за сухостоиной взвился Иван.

— Чего прыгаешь, сволочь? — осадил Бедарев кума.

Лицо у Ивана без кровинки. И от этого задубевшая на морозе кожа стала серой, словно плохо выстиранная портянка.

— Ты... ты... ты... — выбивая зубами дробь, бормотал Чурилов.

— А у тебя, что, глаза повылазили?

Иван суетливо пытался запахнуть на груди фуфайку, канючил икая:

— Не хотел я этого, Миша! Матерью клянусь! Сам не знаю, как получилось, и ногу вот вывихнул, поди...

— Неча сопли размазывать, — оборвал его Бедарев. — Идти можешь?

Чего угодно ожидал Иван, готовясь к самому худшему, только не этого. И потому молчал в растерянности.

— Чего расшиперился, сволочь? — Бедарев притушил в глазах огонек ненависти, протянул все еще сидящему на снегу Чурилову его ружье. — Забери, и подумай, за что егеря стрелил.

— Кто — я? — протянул испуганно Иван.

— А то кто же, — хмыкнул довольный Михаил. — Ружье-то чать твое. Из него и стрелял. Пурга следочки подметет, а свидетелей нет. Только по пуле и узнают, кому ружейцо принадлежит. Смекаешь?

Иван сник:

— Зачем ты так, Миша?

— А ты бы как хотел? — косо глянул на кума Бедарев. — Меня с потрохами продать, а самому чистеньким остаться? Не выйдет. Тепе-

рича ты у меня по гроб на крючке сидеть будешь. А вздумаешь еще раз вильнуть в сторону, Николкина кровушка за тобой потянется.

Устав от такой длинной речи, передохнул и уже другим, бесцветным голосом закончил:

— Смываться отседова надоть.— Он бросил взгляд на распластанное тело Николая, коротко выдохнул: — Пошли!

Он помог Чурилову стать на лыжи и потянул след к зимовью, которое было за третьим увалом от поляны, где остался лежать на снегу егерь.

* * *

Возвращался Колышкин из управления леспромхоза в Богдановку в приподнятом настроении. Видать, комиссия из области слов на ветер не бросала. В управлении, вопреки укоренившейся привычке, начальник не метал громы и молнии, а как-то непривычно вежливо и смущенно пожал плечами, подписывая распоряжение на запчасти к трелевочникам и лесовозам.

— Последнюю заначку отдаю. Уж поднажми с вывозкой, ведь не успеем к сплаву.

— Теперь другой разговор,— заверил Петр Иванович,— расшибусь, а план вырву.

Они ехали с Никифором Пожидаевым по зимнику, бесконечной змеей вилиющему по реке. Никифор молчал. Петр Иванович, глянув на него сбоку, сказал:

— Замотался ты, видать, Никифор. Вот только малость раскрутимся, я тебе цельну неделю отгула дам.

Никифор, не поворачивая головы, скосил взгляд:

— Это за какие такие подвиги мне причитается?

— За те, что работаешь по-настоященски, не спусти рукава, как иные.

— А я думал за то, что запчасти везем,— хмыкнул Никифор.— За них пусть не отгул, так бутылка причитается наверняка...

— Вот приедем и поставлю.

— Брось дурить,— не поверил Пожидаев, зная, как редко прикладывается к хмельному зелью начальник участка,— завести хочешь, чтоб быстрее поехали?

— И не подумаю. Как только приедем в Богдановку, так и рули к магазину.

У Никифора радостно блеснули глаза, и он грудью навалился на баранку, придавил акселератор.

— Коли не шутишь, так и пошуровать не грех.

Смеркалось. Никифор включил фары, но от этого только темней стало в кабине.

Над рекой пряла свою бесконечную пряжу поземка. Снежные струи наискосок хлестали по кабине, и порой Петру Ивановичу казалось, что машина стоит на месте, а сам зимник лениво ползет под колеса. Пурга, которая еще с утра копила силы, загудела во всю мощь. Боясь ненароком сползти в этом вихре с едва уже приметного пути,

Никифор прищурил глаза, словно метил в цель, одному ему видимую.

Понимая, что сейчас Пожидаеву не до разговоров, Петр Иванович поплотней придавил голову в мягкий воротник овчинного полушубка, прижался спиной к сидению. От этой гудящей пурги, от темноты, что моментом обступила машину, еще уютней показалось ему в теплой кабине лесовоза. А мерное покачивание на ухабах не раздражало, а наоборот, успокаивало на дремотный лад. И борясь со сном, со смеженными веками, прикидывал Петр Иванович, как лучше начать работу с отремонтированной техникой, чтобы быстрее наверстать план. Но дремота одолевала. Уже проваливаясь в сон, он в последний раз успокоил себя: «Ладно, завтра на свежую голову все обмозгую».

Проснулся Петр Иванович оттого, что машина резко тормознула и он сильно треснулся лбом в ветровое стекло. Набросился на Никифора:

— Ты что, дрова везешь, мать твою... — и замолчал, пораженный видом шофера. Тот, приподнявшись с сидения, напряженно всматривался в черную полосу окна, что оставлял после себя на заледенелом стекла шустро бегущий взад-вперед «дворник».

— Ты чего? — спросил его Петр Иванович и прильнул к стеклу, пытаясь увидеть то, что озадачило Никифора.

— Никак человек впереди лежит.

Не сговариваясь, они разом распахнули дверцы кабины. Низко кланяясь поземке, поспешили вперед, где на зимнике лежал уже порядком припорошенный снегом человек. Никифор приподнял его за плечи, и Петр Иванович вскрикнул:

— Николай!

Лицо у егеря было залито кровью, из груди вырывалось хриплое дыхание. Пожидаев рукавом куртки растер ему заледенелые щеки, Николай застонал. Потом на какой-то миг открыл глаза. Он не узнавал Колышкина, не признал и Пожидаева. С трудом разжимая окаменелые скулы, прохрипел:

— Рысь там, за мной шла...

И снова обмяк, застонал.

Первым пришел в себя Колышкин. Подхватив Говорова на руки, он приказал Никифорову:

— Разворачивайся, гони в район!

* * *

Рысь была старая, с круто подведенным от голода животом, с то-скающими, подернутыми пеленой желтыми глазами, в которых застыли равнодушие, обреченность. Еще недавно она чувствовала себя сильным могучим зверем. Ничего не стоило ей в два прыжка догнать ко-соглазого, отбить от лосихи теленка. Но глубокий снег и старость сделали свое коварное дело. С каждым днем таяли силы, глубже западал живот, облезала клочьями шерсть и жгучее, непроходящее чувство голода, казалось, навсегда поселилось в ней.

Хорошо было ей только во сне. Она тогда чувствовала себя моло-

дой и сильной, засевшей в засаду над водопойной тропой косуль. Шуршала трава, щекотал ноздри пряный запах тайги, и зоркие глаза еще издали улавливали коричневатые спины косуль, вереницей спускающихся с солончаков. Они тянулись по привычной тропе. Тогда она осторожно подбирала под себя лапы, чтобы, промелькнув желтой молнией в воздухе, громом ударить по потной, поблескивающей каплями росы, спине косули.

После прыжка, когда когти вонзились в трепещущую жертву, а в пасти ощущался теплый привкус свежей крови, рысь всегда просыпалась. И оттого, что было все это во сне, а голод после этого еще более плотным обручем стягивал тело, она подолгу ворочалась в своей заледенелой снежной постели, зябко поджимала лапы, которые уже отказывались ей служить, дрожали даже под таким легким, почти невесомым телом.

Вчера она сделала рискованную попытку, вышла на след человека. К людям она питала страх. Рысь отлично помнила свою первую встречу с ними. Она еще была молодой, сильной кошкой. Но люди оказались сильнее, выследили ее, и по тайге пронесся гром выстрелов.

Рана была пустяшной, но боль в лопатке пронзила все ее тело. Собака, вонючий паршивый зверь, от которого кисло пахло человеком и дымом костра, попыталась настичь ее, загнать на дерево. Вильнув в сторону, она тут же резко бросилась на неуспешную отскочить лайку. Одного удара лапы было достаточно, чтобы жалобно взвизгнул обидчик, задымил сине-розовыми внутренностями на хрустящем насте.

С тех пор на всю жизнь сохранился на левой лопатке косой шрам — след пули. И все же вчера она прошла по следам человека в надежде подобрать на его лыжне хоть какие-нибудь крохи. Но поживиться, кроме сыпучего, безвкусного снега, было нечем. Шатаясь от усталости, она сделала небольшой крюк и легла на отдых под разлапистой пихтой.

Сон был тревожный, однообразный. Стоило смежить глаза, как сразу на нее наплывали огромные стада косуль, молодых лосят. Целые груды живого мяса! Рысь вздрагивала, просыпалась. Шершавым языком, похожим на наждак, она лизала наст. В желудке от снега было холодно, пусто. Она еще отчетливее в эти мгновения чувствовала, как капля за каплей уходит из нее тепло, последние силы. И уже совсем почти равнодушно восприняла она ружейный грохот. Стреляли где-то недалеко. От выстрелов с пихты сыпалась снежная кисея. Боясь покинуть свое убежище, чтобы случайно не натолкнуться на людей, она плотней прижалась к пихтовому стволу, и после каждого выстрела шерсть становилась дыбом на заостренном загривке, а в глазах вспыхивал тот недобрый огонек, который давно уже прятался за пеленой усталости, обреченности.

Серый день, пронизанный поземкой, зыбким холодом катился к концу, когда рысь покинула свое убежище, побрела вниз к роднику. Шла она неторопливо, экономя силы, чутко прислушиваясь: не пискнет ли где мышь, не прострочит ли едва приметную строчку по серому полю снежного покрова юркая ласка. И вдруг ее ноздри щекотнул ед-

ва уловимый запах крови. Был он такой слабый, что рысь поначалу даже не поверила себе, настолько отвыкла от него наяву. Она шумно потянула в себя воздух. И снова забытый запах ударил по ноздрям, но уже с такой силой, что кровь горячей волной прокатилась по всему телу и от предчувствия близкой добычи рысь вдавилась в снег, закаменела. Спустя миг, она тянула свой след туда, откуда щекотал ноздри запах крови, и с каждым шагом рысь преображалась. Теперь уже это была не измученная длительной голодовкой, с круто запавшим животом, с подрагивающими от усталости ногами, старая кошка. Колочей щетиной вздыбилась на загривке шерсть. Недобрым огоньком вспыхнули глаза. Открылась пасть, усеянная блестящими резцами. Это была совсем другая рысь. Матерый зверь вышел на тропу разбоя, готовый в любой момент распластаться в яростном прыжке, после которого последует неотразимый удар налитого могучей силой тела.

Осторожно ступала рысь, боясь малейшей оплошностью спугнуть добычу. Она поднялась на валежину, чтобы окинуть взором поляну, и замерла. Посреди нее, широко разметав руки, лежал человек.

* * *

Выстрела Николай не слышал. Последнее, что отметил взгляд и сохранила память, была широкоплечая человеческая фигура, отделившаяся от пихты. «Михаил!» — узнал егеря. Из груди его вырвался булькающий хрип, и Николай потерял сознание.

Возвращалось оно к нему медленно, ленивыми толчками. Еще не открывая глаз, Николай почувствовал какое-то необъяснимое беспокойство, словно недобрый взгляд сверлил его насквозь. «Неужели еще кто-нибудь может быть здесь?» — подумал он и открыл глаза. На валежине, поджав под себя лапы, сидела рысь. Она готовилась к прыжку, и от этого Николай ощутил зябкий холодок в сердце. «Конец!» — подумал он. Шарящая по снегу рука его ткнулась в ножны. Ладонь обняла рукоятку ножа. Сплунув вязкую слюну, он прохрипел:

— Боишься, скотина!

Рысь изогнула дугой хребет, отскочила в сторону.

— То-то... — процедил сквозь стиснутые зубы егерь.

Теперь он знал, что рысь ни за что не нападет на него, если только хватит сил держаться на ногах, не потерять сознания. Николай со стоном привстал на одно колено, поднялся. Путь к ружью был отрезан рысью. И тогда он решил идти к реке.

«Только не упасть», — твердил Николай, с трудом различая в сумерках припорошенный след.

Сколько он шел, низко кланяясь пурге, ежесекундно окидывая взглядом темной тенью скользившую в стороне рысь, Николай не помнит. Во всю гудела пурга, и Николаю казалось — еще миг и она подхватит его ослабевшее тело на свои крылья, закружит, завертит.

Рысь, забежавшая вперед, вдруг насторожилась, долго смотрела вдоль реки, к чему-то прислушиваясь и, оскалив пасть, резко вильнула в сторону, скрылась в прибрежном тальнике. Вместо радости, однако,

Николай ощутил такую тяжесть, что захотелось тут же лечь на снег и забыться. Но кто-то другой, не он сам, твердил: ляжешь — не встанешь! И подчиняясь этому властному голосу, он медленно побрел к зимнику, который вихлястой плетью протянулся посреди реки.

* * *

Недобрая весть в момент облетела поутру Богдановку и Коврижку. Узнали люди, что Колышкин и Пожидаев подобрали нынешней ночью на зимнике егеря, увезли в районную больницу. А вернулись в Богдановку не одни. Вместе с ними приехали следователь и два милиционера.

За эту ночь Колышкин заметно осунулся, стали отчетливее видны морщинки на почерневшем лбу. Он сидел нахохлившись за своим скрипучим столом, а следователь Стрекалов мерил шагами небольшой кабинетик начальника участка, смолил папиросу за папиросой.

— Есть у меня одна мыслишка... — сказал Колышкин.

— Какая? — насторожился Стрекалов.

— У егеря в рюкзаке капканы видел?

— А как же, зацепка хорошая. Был бы егерь в сознании, сразу узнали. А теперь самим надо до этого докопаться. Только осторожно, чтобы не вспугнуть хозяина этих капканов раньше времени.

— Это я понимаю, — согласился Колышкин. — Но и времени терять зазря не след. Может, покажем капканишки народу?

— А как сорвется это дело? — решил подстраховать себя Стрекалов.

Но Петр Иванович молчал. И тогда следователь махнул рукой:

— В нашем деле без риска не бывает, собирай народ.

Получив «добро», Колышкин поспешил к гаражу.

Шофер дежурной машины поджаривал факелом поддон, готовился к выезду на лесосеку. Колышкин окликнул его:

— Поедешь за бригадой Сафронова. Пятиминутку провести надо.

Дело было непривычное, и мужики нехотя, сумрачно втискивали широкие, в ватных штанах зады в скрипучие креслица, лениво переругивались. Каждый понимал, что начальник собрал их неспроста. Сегоднешняя весть о егере, которая и без того порядком взбудоражила Коврижку и Богдановку, заставила не одного мужика в сердцах поскрести затылок, пораскинуть: кто из соседей мог пойти на такое дело. И были на этот счет свои думки, да при себе держали. Уж так издавна в тайге повелось: тебя не забирают и ты на соседа не кивай. На это дело начальство имеется, ему первому и слово держать. Вот почему и насупились, похмурели лицами лесорубы, когда тишина наступила в полутемном зальчике клуба и вышел вперед, перед самой сценой, Колышкин, заходил, словно маятник, из угла в угол, искоса поглядывая на сидящих мужиков. Ходил и молчал, а тишина в зале становилась все тягостней, напряженней. Первым не выдержал Степка Туляков:

— Че резину тянешь, Петра Ваныч? Говори, на кой ляд народ собрал.

Колышкин остановился, стрельнул в сторону Степана оценивающим взглядом:

— Сами, поди, знаете, зачем собрал.

— Мы-то при чем? — удивился Сенька-кузнец.

— А при том, что помочь следствию требуется.

— Держи карман шире, — хохотнул Пронька Ветров и подтолкнул локтем в бок Никифора Пожидаева: — Тайга — закон, медведь — прокурор. Пущай милиция у этих свидетелей и поспрошает. А мы там не присутствовали, сведений не имеем.

— Будя балабонить, — урезонил Проньку Никифор. — Иваныч дело говорит.

— Вот, здрасте, — взвился Пронька, — кто-то стрелял, а мы словно на допрос прибыли.

— А, может, и не наши это сделали, — поднялся со своего места Степан Туляков, — нешто есть промеж нас такие?

Колышкин приподнял руку, словно учитель усаживая учеников.

— Мне и самому чертовски хочется, чтобы не оказалось промеж нас лихоедея. А убедиться в этом нетрудно. Есть тут вещички у следователя, в Николкином рюкзаке нашли. Ежели не признаем по честности, чьи они, стало быть, и делу конец.

С этими словами Колышкин шагнул в угол, где лежал рюкзак. Пока Петр Иванович возился с рюкзаком, в зале наступила такая тишина, что было отчетливо слышно, как у сидящего в переднем ряду дед Мефодия булькает воздух в старой, изношенной груди.

Колышкин поднял над головой связку капканов.

— Вот чего нес Николка из тайги. За эти железки чуть не поплатился жизнью. Пущай каждый посмотрит, мож, и припомнит, у кого видел эти капканы.

При виде капканов екнуло сердце у Проньки. Стараясь скрыть испуг, охвативший его, охрипшим голосом крикнул:

— Железки, они и есть железки — штамповка.

— Да не толдонь ты, — снова оборвал его Никифор и дернул за низ куртки. — Сиди да помалкивай, коли на большее ума не хватает.

— Это у меня не хватает? Да я и тебе излишек завсегда выделить могу.

Дед Мефедий покачал осудительно головой:

— Чего кипятишься, Проняха? Для тебя усмешечки, а промежду прочим, большое дело решить надоть. Грешно зубья скалить по такому случаю, — и обратился к Колышкину. — А ты не слухай, Петр Иванович, пустобреха. Пущай капканишки по кругу, нехай мужики пошшупают...

Капканы пошли по рукам. Пронька Ветров, равнодушно махнув рукой, протянул:

— Все на едино лицо. Штамповка — сна штамповка и есть

Дольше всех рассматривал капканы Сенька-кузнец. Он обнюхивал каждый из них, присматривался на свет, словно стараясь припомнить. И оттого, что память не срабатывала, а один из капканов был явно знакомым, Сенька вдруг вспотел и красные пятна поплыли по лицу:

— Ты чего, Сень? — потянул его за локоть Степан Туляков, но кузнец лишь досадливо дернул плечами.

Не говоря ни слова, нахмутив рыжие, в подпалинах брови, он с треском поднялся и, ступая своими огромными сапожищами по ногам мужиков, двинул к проходу. Остановился напротив Проньки, протянул ему капкан:

— Узнаешь?

Наступила тишина. Взгляд белесых, навывкате, Пронькиных глаз суматошно бегал с капкана на хмурое лицо Семена.

— Да ты что, Сень? Рази это мои?

— А то чьи же, вот у этого я тебе самолично пружину варил. Уж свою-то работу завсегда отличу, — сказал Семен и повернул капкан тем местом, где на пружине отчетливо проступал след кузнечной сварки. — Видел?

Цепкой клешней Никифор Пожидаев сгреб на груди у Проньки фуфайку, коротко, без размаха, ударил его в переносицу. Мужики вскочили со своих мест.

— Кончай самосуд, мать вашу, — подлетел к Никифору Колышкин. — Ты чего, вместе с ним с тюрьму захотел?

Никифор, безразлично обтирая о штанины брюк руки, угрюмо пробубнил:

— Коли по совести, пристукнуть на месте, чтоб другим неповадно было.

Рядом с Ветровым уже стоял Стрекалов.

— Попрошу пройти в контору, — сказал он Проньке и Семену. — Там побеседуем.

Ветров, шмыгая носом, из которого капала кровь, рухнул на колени и, сломавшись пополам, застонал:

— Не убивец я, братцы! Нет на моей совести крови Николкиной.

Сафронов презрительно махнул рукой:

— Будя кривляться, Проняха. Москва слезам не верит. Капканы-то, чать, твои?

— Мои...

— А как же они у егеря очутились?

Пронька растерянно пожал плечами, но глаз долу не опустил, а заглядывал в лицо каждому из стоящих кругом мужикам, тербил на груди раздерганную в клочья фуфайку, твердил:

— Хоть убейте, не могу сам в толк взять. Ведь не ходил я вчерась в тайгу, дома был...

Стрекалов взял Ветрова за рукав фуфайки и повел сквозь кольцо мужиков к выходу.

* * *

Иван был плох. Правую ногу его так раздуло, что он с трудом ковылял на лыжах. Чувствуя, что Ивану не дотянуть круговой дорогой до избушки, Михаил вынужден был пойти напрямки, успокоив себя тем, что следы их приметет за ночь пурга.

Едва ввалились в избушку, уже порядком выставшую, Михаил схватил топор и заспешил к густому березняку.

— Куда ты, Миша? — дернулся Иван на нарах, боясь хоть на минуту остаться один на один со своим страхом, который поселился в нем с того момента, как увидел распластанного на снегу егеря.

— Лежи, лежи, — успокоил его Бедарев. — Дровишек натаскаю побольше...

Не надеялся на себя Михаил, боялся сорваться. И тогда не миновать Чурилову участи егеря. Но момент был упущен. Выходило так, что мог бы Михаил выкрутиться из беды, пристрели он Ивана сразу на месте, из Николкиного ружья, и никто бы тогда не смог объяснить толком, почему поперестрелялись на глухой таежной поляне два мужика. У тайги не спросишь — она немой свидетель. А пурга подмела бы за ним, Михаилом, следочки.

Теперь же остается одно — пересидеть спокойно, зарыться в снег так, словно и нет здесь человеческого жилья. Когда успокоится все, тогда и можно будет выйти из тайги совсем из другого уголка. А кто полюбопытствует, почему не были в Коврижке, Ивановская нога лучшим оправдательным документом будет. Решили, мол, из Терассного путь спрямить, да беда случилась. Ждали, мол, пока у Ивана нога в порядок придет. Глядишь, все и обойдется.

Вот о чем думал Михаил, махая в березняке топором, заготавливая побольше дровишек. Иван же лежал на нарах и пытался представить тот день, когда они выйдут из тайги. Напрягал все воображение, но ничего не получалось. Стоило прикрыть глаза, как сразу всплывало в памяти лицо милиционера с перекрещенными на груди ремнями, а за ним — жена. Вся изрванная, с разбухшими от слез глазами, просит она своего бога о помощи. А в чем помогать, если виноват лишь в том, что связался с Михаилом Бедаревым, которому что муху прихлопнуть, что человека — все едино. Но вспомнив, в какой тугой узел завязалась его судьба с Михайловой, что теперь и ему не открутиться, не уйти от ответа, застонал от бессильной злобы на дружка Иван, и из глаз потекли непрошенные скупые слезы.

Заметил ли Михаил перемену в нем, Иван не знал. У каждого была своя думка. Чурилов уже давно проклял тот день, когда связался с крестным, напросился напару в тайгу.

Он не раз просыпался по ночам с желанием уйти из избушки, добраться до райцентра, самому первому обо всем рассказать. Но проклятая нога отрезвляла его. И уже с обреченностью загнанного зверя тоскливо желал, чтобы скорей все прибилося хоть к какому-нибудь берегу. Неуверенное, зыбкое положение особенно угнетало Ивана. И, может, от этого и нога никак не шла на поправку.

...Иван спал, перемежая храп со стоном. Михаил потряс его за плечо:

— Проснись, слышишь?

Ему еще долго пришлось ждать, когда в глазах Ивана появилось осмысленное выражение. И тогда Михаил, улыбаясь, проговорил:

— Слава богу, оклемался.

Он скрутил две папироски, прикурил, протянул одну Чурилову.

— Ты пока тут клопа давил, у меня мыслишка появилась. Да ты не бойся, хорошая мыслишка.

Михаил помог Ивану поудобней устроиться на нарах, подбил в головах лапник. План был простой. Мотнуться в Коврижку, узнать у Аннушки обо всех новостях. Если все тихо, а поиски егеря закончились неудачей, значит, они могут с Иваном выйти из тайги.

Говорил Михаил, и по выражению глаз Ивана чувствовал: ему сейчас хоть что предложи — на все согласится, видать, вконец нога доконала.

— Сегодня же пойду на рассвете, — закончил Михаил.

— Лекарств там каких-нибудь прихвати, — пересиливая озноб, попросил Иван, думая про себя: «Давай, двигай, а я в район подамся. Чует сердце, добром это дело не кончится. Дошкандыляю как-нибудь, чем здесь заживо гнить».

Жидкий рассвет едва забрезжил в маленькое волковое оконце зимовья, как заворочался на нарах Иван.

— Пора, поди...

Михаил стал собираться в дорогу. Он выложил Ивану из своего киста почти весь табак, протянул полный коробок спичек.

Иван молча наблюдал за Михаилом, который в трепетном свете жирника обхлопывал свои карманы, переминался с ноги на ногу, словно не решаясь оставить Чурилова одного. А Иван, боясь, как бы тот не передумал, поторопил:

— Давай поспешай, дорога круговая, за ночь бы обернуться.

Михаил, поколебавшись еще мгновение, молча протиснулся в чуть приоткрытую дверь. Иван затаился на нарах, прислушиваясь к тому, что делает у избушки Бедарев. Вот заскрипел снег, Михаил, проверив крепления лыж, зашуршал по целику. Этот шорох становился все слабей и слабей.

Стихло все. Теперь Иван отчетливо слышал толчки своего сердца, которое вдруг ускорило свой бег, разволновалось. «Спокойно, — уговаривал себя Иван, — не торопись». Он лежал с прикрытыми глазами, копил силы, которые нужны ему, чтобы вырваться из этого плена.

Когда, пересиливая боль, он с трудом надел лыжи, на измученном, опавшем лице его проступила улыбка. Иван ощутил себя счастливым, осознав, что ему удалось обхитрить Михаила, уйти от не знающего жалости ни к кому дружка. Он в последний раз посмотрел в ту сторону, где пролегла свежая лыжня Бедарева и, прихрамывая на каждом шагу, подпирая свое непослушное тело длинной палкой, медленно побрел к угрюмому, молчаливо стоящему по колено в глубском снегу ельнику.

* * *

В один день похмурила, насупилась Коврижка. Вроде те же дома дружной кучкой стоят на вершине высокой сопки, присунувшейся к самой реке, да только что-то таинственное появилось в них, настороженное. И мужики при встрече сумрачно поглядывали друг на друга,

словно заново пытались каждого дружка-приятеля оценить, прикинуть на своих весах. А в агитпункте, как давно уже окрестили мужики магазин, гул стоял от женских голосов. У каждой бабы, забывшей даже, зачем пришла, было свое мнение, свой домысел. Как только Пронька Ветров ни божился, что нет на его совести Николкиной крови, не поверили, арестовали, повели в дом с обыском.

В чулане, пахнувшем кислой капустой и мышиным пометом, следователь Стрекалов обнаружил на притолке три свежих собольих шкурки. А за баней, где собаки вели свои амурные встречи, дотошный следователь в заскорузлом тулупчике, который того и гляди поползет на его широких плечах по швам, выкопал из снега три соболиных тушки. Они уже порядком вымерзли и от прикосновения позванивали.

После этой находки Проньку сопровождали на лесовозе в район. Вот и гудели бабы, прикидывали, что из этих событий может выйти. И не начесались еще они языками, как новая весть потрясла Коврижку. Случилось это в тот день, когда вернулась из районной больницы Дуняша Прянишникова с выздоровевшим Васянькой. Привез ее Стрекалов. Только на этот раз приехал он не в замусоленном тулупчике, а в теплой стеганой куртке, в лосиных бахилах и с автоматом за плечами. Три милиционера и участковый уполномоченный с Ячменюхи Василий Безборудько тоже были наряжены по-таежному. И держались настороженно, с мужиками в разговоры не вязались. Только от Колышкина все узнали: плох был совсем егерь. Его из района на вертолете перебросили в областную больницу. И в тот момент, когда его вносили в пузатое брюхо вертолета, очнулся Николай и успел сказать, что стрелял в него Бедарев.

Эта весть долетела до Аннушки на скорых крыльях, прогремела, словно удар грома среди ясного, безоблачного неба. Не помня себя, влетела в избу, зарылась головой в подушку, дала волю слезам. Еще в тот день, как прокатилась молва по Коврижке, что подобрали на льду раненого егеря, в ней враз все оборвалось внутри. Пусто и неуютно стало в доме, который вот уже сколько лет обихаживала, обставляла на свой манер и вкус. Знала точно: только ее Михаил мог пойти на это. И даже после того, как забрали Проньку, когда все считали его главным виновником, в глубине ее души от этого ничего не изменилось, не пришло облегчение.

Поплакать вволю не дал следователь. Слезы Аннушки, видать, поначалу смутили его. Да только работа у него такая, попривык следователь за долгие годы службы ко всему. Когда Аннушка, всхлипывая, поднялась с постели, растерла ладонями по щекам соленую водицу, хмуро посмотрел он на нее, махнул рукой.

— Поговорить требуется.

Разговора не получилось.

Ничего не узнав о Михаиле, Стрелков недовольно буркнул:

— Ладно, сами найдем.

Он впился своим холодным, прицельным взглядом в глаза Аннушки.

— Соболей сама отдашь или обыск делать?

— Да где они у меня, соболи-то? — прижимая руки к груди, застонала Аннушка.

То ли от отчаянности в ее голосе, а может, и по другим причинам, только не стал следователь обыск делать. Поднимаясь с лавки, бросил вместо прощания:

— Если придет домой, скажи, чтобы сам явился к нам. На суде зачтется. Поняла?

Для Аннушки наступили тяжелые дни ожидания. Каждый день, когда кричали первые петухи, а на дворе стояла еще глухая темнота, уходил следователь со своим отрядом в тайгу. И с того времени и до тех пор, пока отряд не возвращался в Коврижку, с тревогой смотрела Аннушка из своего окошка на опушку тайги, боясь увидеть среди милиционеров крижистую фигуру мужа.

Шли дни. Следователь осунулся, почернел от мороза и усталости. Удача, видать, не шла им в руки. А у Аннушки от этого еще сильнее ломило в груди, и металась она по ночам в коротком, наполненном кошмарами сне.

Так и уехал следователь ни с чем: озлобленный, расстроенный неудачей. Теперь жила Аннушка надеждой скорой встречи с Михаилом. Ждала его каждую ночь, боясь проспять осторожного стука в окно, мягких шагов. Знала — придет. И ждала, ждала, ждала...

* * *

Трижды уже хлестала Дуняшу жизнь наотмашь, била в самое сердце. Первый раз пробежали мальчишки вдоль деревни с великим визгом, сообщили, что пошли по реке мужики в Богдановку за водкой. Для кого-то эта весть забавой показалась, а для Дуняши черным горем обернулась — забрала река Бориску.

Затем примчался весь бледный, с перекошенным от испуга лицом сынишка Катерины Туляковой, заплетающимся языком объяснил: упал в прорубь Васянька. Как была в легкой кофтенке, так и вылетела на улицу, по которой бежал ее Васянька, похожий на большую глыбу льда.

Весть о том, что беда случилась с Николаем, тоже на черном крыле прилетела, не задержалась. Бабка Настасья, вздыхая, поведала обо всем Дуняше. Не помнила Дуняша, как очутилась у себя в избе, сколько проплакала. Замкнулась в себя. И люди ее сторонились, потому что не у каждого человека есть талант утешить другого в беде.

Видела Дуняша, как не хотела милиционерам открывать свою тайну тайга. Подмяла она их, поисхлестала колючими ветками, пообрывала одежду, наложила на лицо каждому по четкому отпечатку усталости, измотанности. Сколько ни колесили вдоль Горячего Ключа, а ни одного следочка не обнаружили. Да только знала Дуняша точно, где-то там, в мрачных распадках Горячего Ключа, схоронился Михаил Бедарев. Ему тайга — дом родной. Она следы его пургой позамела, а теперь свои хоромы перед ним распахнула. Заходи — живи, переждидай беду, пока обида у людей на муку не перемелется, а милиция не прикроет без-

надежное дело. Уж если зимой не могут отыскать, то летом и подавно.

А ведь не Мишка — жила бы Дуняша счастливо на свете. Бориска мужик был хоть куда: кулаками по пьяному делу, как другие, не махался. Сманил Бедарев Бориску за водкой, на погибель зазвал.

Николая тоже не пожалел. Видать, крепко заступил ему Николай дорогу. А у нее, у Дуняши, быть может, последнюю надежду на счастье тем выстрелом, что целил в Николая, отнял.

Не идет сон к Дуняше, и ночь, без того длинная, глухая, кажется бесконечной пыткой.

Глаза смежит, Николаево лицо видит: улыбчивое, приветливое. А прикроет веки, начинает казаться, что из угла выплывает лицо Мишки Бедарева. Заросшее колючей щетиной, в глазах желтые огоньки.

Вскидывается испуганно Дуняша, дрожащей рукой зажигает трехлинейную лампу, чтобы разогнать тревожную темноту, чтобы попрятались привидения. Но и это не приносит облегчения, потому что слабый свет лампы напоминает ей свет свечи, поставленной бабкой Настасьей перед портретом Бориски, и ноги сами по себе несут ее прочь из спальни. И она начинает ходить из угла в угол, из спальни в кухню. Часто наклоняется к сыновьям, поправляет сползшее одеяло. Это помогает. Только Михаил не исчезает. Куда бы ни бросила в притемненный угол взгляд Дуняша, везде ей кажется, что за ней следят глаза Бедарева. Но его она не боится. Она его ненавидит за то, что оставил ее одинокой мучиться в этой тишине ночи, наполненной кошмарами.

Убедившись, что сон так и не придет к ней в эту ночь, она накинула на плечи фуфайку, вышла на крыльцо. Морозный воздух гулко ударил в грудь. Оперевшись на перильца, Дуняша равнодушным взглядом скользнула по знакомой с детства улочке. Спит Коврижка. Ночь натянула над ней темное покрывало, усыпанное ярко блестящими серебринками звезд. Все знакомо, привычно Дуняше. Но почему тогда ощущает она какое-то беспокойство? Еще и еще всматривается она в улицу, в черные глыбы изб. И вдруг замерла, боясь дажедохнуть. В баньке Михаила Бедарева подслеповато светилось окно и высоко к небу тянулась тонкая, белесая струйка дыма. Дуняша впиалась руками в перильца с такой силой, что заныли ладони.

Еще не зная, зачем она это делает, Дуняша распахнула дверь и, стараясь не разбудить сыновей, на цыпочках прокралась в спальню. Здесь, на стене, подвешенное почти под самый потолок, висело Борискино ружье. Сдернув его с гвоздя, Дуняша незряче ткнулась в комод, где на верхней полке лежали патроны.

Парился Михаил с особым наслаждением, хлестко стегал себя венчиком и чувствовал, как с каждым ударом уходила из его тела таежная усталость, то натянутое состояние, которым он жил все эти дни. Аннушка рассказала все: и как подобрали Николая в ту пуржистую ночь, и как тщательно пытались найти его зимовье милиционеры. Не долго раздумывал Михаил. Аннушка лишь робко заикнулась о словах следователя, которые он сказал перед уходом, как насупился Михаил:

— Не видать им меня, поняла! Нашли дурака, чтобы я сам себе добровольно приговор подписал.

На что рассчитывал Михаил, говоря эти слова, он еще и сам толком не знал. Единственная маленькая надежда была — пересидеть в тайге зиму, набить побольше соболей, а там через городского приятеля попытаться замести следы. Тайга большая, есть в ней такие уголки, где и беспаспортного человека принимают, лишь бы вкалывал. Но, сидя на жарком полке, хлеща себя веником по бокам, думать об этом не хотелось, потому как и самому-то верилось в этот план лишь с великим трудом. Михаил знал себя, свою натуру: ни одного лишнего шага не сделает, пока не убедится, что он будет в безопасности.

Парился Михаил всласть, с запасом, зная, что, быть может, еще не скоро доведется вот так же лихо пожарить бока, выгнать сухим проклятым теплом всю хворь из тела. Может, всю зиму придется просидеть у себя на зимовье. Вот только с Иваном как быть? Отпустить его нельзя, продаст с потрохами. А убить... Теперь, пожалуй, рука не поднимется.

Он в последний раз окатил себя чуть тепловатой водой из шайки, накинул на голые плечи полушубок, а ноги сунул в валенки. Распахнул дверь предбанника и дохнул холодный морозный воздух.

Он сделал всего несколько шагов, как почувствовал на себе чей-то жгучий взгляд. Поднял глаза и замер. На тропе, ведущей от бани к избе, стояла, сжимая в руках ружье, Дуняша.

— Явился?

— Ты чего это, — попробовал вскинуться Михаил, и его глаза тут же округлились. — Брось дурить, чать не игрушка.

— А я и не думаю шутить. За что стрелил?

Михаил понял: от ответа не уйти.

— Не со зла стрелял, — гулко ударил себя в голую грудь — Думал, он Ваньшу уколошил.

— А говоришь, не со зла.

Михаил молчал. Поняв, что толкнуло Дуняшу на такой шаг, он с тоской подумал: «Все, крышка!» И тут же матюгнул себя. «Трус, от бабы не можешь уйти!». Михаил качнулся на широко расставленных ногах, пошел на Дуняшу, рванув полушубок, зло шипя:

— Стреляй, стерва, за своего кобеля.

Дуняша видела, как косит в сторону Михаил, отводит руку, чтобы одним рывком поймать за ствол ружье. И когда его рука мертвой хваткой вцепилась в ствол, два хлестких выстрела прокатились над Коврижкой.

Михаил изогнулся, поймавшись за почерневшую враз грудь, и Дуняша увидела: что-то дымящееся ударило у него из-под ладоней. Михаил ткнулся головой у ног Дуняши и, дернувшись раз-другой, затих. А вслед за выстрелом хлопнула в избе Бедаревых дверь, и страшный, жуткий в своем тоскливом одиночестве крик Аннушки полетел из края в край Коврижки, переметнулся через широкий плес Томи и наткнулся на холодную, равнодушную ко всему на свете крутую стену Ярыгина камня.

Валентин Махалов

За последние годы Валентин Махалов побывал на разных широтах нашей страны — в Тувинской АССР, на Камчатке, в Архангельской области. Свои впечатления он, как поэт, естественно, выразил в стихах, часть которых мы и предлагаем читателю.

ОНЕГА

Чайки хлопьями снега
Густо падают с неба.
Нашу качает лодку,
Как колыбель, Онега.
В лодке рыбак бывалый —
Тихон Палыч Егоршин.
Лет ему сто, пожалуй,
Или намного больше.
Вздрагивает кижанка —
Лодка работы спорой.
Сухо скрипит кожанка
На крепких плечах помора.
Руки, знавшие весла,
Теперь привыкли к мотору.
Слился с берегом остров,
Жили мы на котором.
Дом карельского лада —
Хмурый, широкоспинный.
Старенькая ограда
С зарослями малины.
В этом доме гостили
Мы, почитай, неделю.

Вдоволь ели и пили,
Спорили и шумели.
Помор улыбался в бороду
И звал нас всех к самовару:
— Веселые люди в городе,
Как на большом базаре.
А мы, в какие-то веки,
Отринув все городское,
В гостях у древней Онеги
Были сами собою.
Спасибо, старик Егоршин,
За это чувство святое,
За то, что мне вдвое горше
Прощанье с этой землею.
Она простотой красива,
Нынешней и вчерашней.
Это — сама Россия
С ее душой нараспашку.
Чайки падают с неба,
В воздухе кувыркаясь.
Я прощаюсь с Онегой,
Будто с собой прощаюсь.



Зимний кижуч идет
Подо льдом напролом,
Поднимаясь к истокам реки.
Докрасна разогреты
Текучим теплом
У могучих самцов плавники.
Катит быстрые воды
Камчатка-река,
Темнотой глубинной лососей укрыв.

А у самок тучнеют
Крутые бока
Золотистым наливом икры.
К нерестовым местам
Зимний кижуч идет
Сквозь кордоны подледных сетей.
Это голос инстинкта
Лососей зовет
Умирать ради жизни детей.

Будет праздник любви,
Жгущий силы дотла.
Будут свадьбы и вымет икры.
И примерзнут ко дну,
Как подлодки, тела
После этой смертельной игры.

Лед взломает весна,
И река понесет
В колыбель океана мальков косяки.
А пока — напролом
Зимний кижуч идет,
Поднимаясь к истокам реки.



По луковой тропинке
В снеговую кугу
Уезжают тувинки
На оленях в тайгу.

Приторочены торбы
К оленьим бокам.
А дорога до стойбищ
Далека-далека.

То горами, то логом,
То вязка, то тверда,
Приведет их дорога
К оленьим стадам.

И тувинкам ударит
В ноздри дым от костров.
Им скуластые парни
Улыбнутся светло.

И любимых встречая
На излучке реки,
В чашки теплого чая
Им нальют мужики.

По старинным законам,
Трудный путь завершив,

Выпьют верные жены
Для сугрева души.

Ну, а позже, под вечер,
Будет маленький пир.
И напиток покрепче
Разольет бригадир.

Дорогие гостинцы
Жены выложат: — На!
Захмелеют тувинцы
От любви и вина.

А рассветы над тундрой
Холодным-холодны.
Будет долгим и трудным
Ожиданье весны.

Злого, горького дыма
Наглотается тьма.
Только будет с любимым
Чуть короче зима.

Потому по тропинке
В снеговую кугу
Уезжают тувинки
На оленях в тайгу.



М. Рыжков

САМСОНЫЧ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

«И каждый, кто незыблем в этой
вере,
Кто чтит и любит Родину, как мать,
Распахивая в будущее двери,
Не должен о прошедшем забывать».

Карло Каладзе

«Белые отступают. Бежит Колчак. Идут красные!» — многие передавали эти новости с радостным волнением, иные — в страхе.

Отход колчаковских войск на восток прикрывали так называемые «уфимские стрелки», наиболее преданные самозванному «царю» Сибири добровольческие полки, сформированные из кулацких и купеческих сынков Среднего Поволжья и Приуралья. Они отличались особой жестокостью.

Опустело село Верхотомское. Опустился наш некогда многолюдный дом. Отец уехал по поручению селян на своей клячонке в Павлодар за солью. Старший брат Георгий ушел добровольцем в Красную Армию. Дядя Василий Васильевич Панарин и постоялец Николай Иванович Варзин скрылись, будто в воду канули...

Вечером мать управится по хозяйству, подсядет с прялкой поближе к лучине, начинает новую работу. Возле нее на полу примостится и тетя Устинья с рукодельем. Им есть что вспомнить, есть о чем поговорить.

Только надсадный кашель больной Ульяны — жены Варзина — иногда прерывает их беседу.

— Может, попить дать? — спрашивает мать, поправляя у больной подушку, а про себя думает: «Вот супостаты, с год никак будет, как ее за мужа схватили каратели. С тех пор и не встает. Он-то поправился, только рубцы на спине остались...».

Мне становится не по себе, выхожу из дому...

Бушует взлохмаченное вихрем небо. В клочья рвет густые черные тучи и стреми-

тельно уносит на восток. Словно лопатой швыряет в лицо колючий снег. За околицей темный бор глухо стонет. Где-то в подворье промычала недоеная корова, взлаял голодный пес. Тоскливо, жутко...

Однажды ночью наш сон был внезапно прерван. Хлопали неистово двери. Гулко стучали об пол кованные каблуки английских ботинок. В избу то и дело входили и выходили из нее солдаты в серых шинелях. Яркий свет «молнии», подвешенной к потолку, слепил глаза. Какие-то люди, поблескивая золотом погон, склонились над топографическими картами.

Мать и тетя хлопотали у печки. Братишка Ваня принес и бросил в угол хомуты с распряженных коней приезжих. Сестренка Даша тайком шмыгнула на полаты и притихла.

Один из офицеров устало встряхнул головой, оглядел комнату. Взгляд его на секунду задержался на пустой кобуре, небрежно брошенной на кровать...

— Мой револьвер похищен! — вдруг закричал он и бросился к братишке.

Мать, почував беду, проворно заслонила сына. Заплакала.

— Господин офицер, мои дети сроду не брали чужого!

Вмешались штабисты.

— Может, обронил где? — и, взяв фонари, беляки вышли.

Мы не могли усидеть в своем убежище и, несмотря на увещевания и слезы матери, горохом скатились с полатей.

Улицы села были освещены заревом костров. Всюду стояли повозки, пушки, винтовки, валялось какое-то барахло. Солда-

ты, прилясывая, протягивали озябшие руки к огню. Многие деловито разбирали заборы и тащили сухие жерди в костры; другие убивали крестьянский скот, тут же потрошили его и бросали в котлы. А колонны солдат и обозы все подходили и подходили...

Лютый мороз пощипывал уши, забирался под ватные зипунишки. Изрядно продрогшие, мы вернулись домой. Дашутка уже спала.

Утром, когда мы проснулись, улицы были пусты. О «постояльцах» напоминали лишь тлеющие пепелища костров, исковерканные заборы да разбросанное повсюду различное снаряжение.

Колчаковцы ушли в направлении деревни Кедровки, намереваясь выйти на Мариинский тракт.

Вечером село было взбудоражено новыми пришельцами. На этот раз вошел батальон «уфимских стрелков».

Они с ходу приступили к расправам и грабежам. То в одном, то в другом конце села внезапно возникала стрельба и так же внезапно обрывалась. На площади у церкви появилась свалка конфискованного имущества партизанских семей. Ворвались и к нам. Выволокли больную Варзину и начали истязать ее, добываясь сведений о муже.

— Стойте, господа! — увидев Дашутку, не успевшую укрыться, распорядился старший офицер. — Мы здесь расквартируемся.

Пытка прекратилась. На столе появились вина, закуски. Началось «сватовство». Офицер решил непременно увести Дашу с собой.

Неожиданно во дворе послышался встревоженный голос:

— Красные!

За окном загрели выстрелы. Среди белогвардейцев поднялась паника. Они поспешно сдвинули лошадей.

На окраине села появился небольшой отряд конной разведки Красной Армии. Следом за ним двигался отряд местных крестьян.

Оказалось, красные разведчики следовали по пятам батальона «уфимских стрелков».

Среди красных разведчиков мы узнали Варзину и Панарина. Но особенно выделялся плотный, с большой русой бородой человек. Черная папаха с красной лентой наискосок заломлена почти на затылок. Это был Дмитрий Самсонович Кремлев. За доброе сердце и пожилой возраст разведчики звали его просто Самсонычем.

Никто тогда и не подозревал, что этот бородастый человек впоследствии станет вожаком и душой верхотомских коммунистов и бедноты.

— Вперед! За мной, товарищи! — послышался мягкий, но повелительный голос Самсоныча. Отряд сразу взял в галоп. Над головой одного из всадников взметнулось полотнище и алым пламенем прополыхало по всему селу. Всадники уже поднялись на взгорье и скрылись в сосняке. Только алое пламя еще долго мелькало в редколесье и погасло в глухом и загадочном бору, опалив наши юные сердца чем-то неизведанным, манящим...

Отгремели оружейные залпы. Отодвинулся далеко на восток фронт. Восстановлена Советская власть в селе. Первым председателем ревкома Вознесенской волости в Верхотомке стал Дмитрий Самсонович Кремлев. Вскоре была создана и партия.

Время было тяжелое. Жестокая разруха гражданской войны дополнилась невиданной засухой и недородом. У большинства населения не было лошадей, орудий, семян. Многие голодали.

Сбежали учителя. Но Кремлев не позволил закрыть школу — сам встал у классной доски.

Потянулись к новой власти бедные люди. Шли они к Самсонычу с волнением и надеждой. Двери ревкома не закрывались ни днем, ни ночью. Для каждого Кремлев находил доброе слово, давал добрый совет, а где требовалось, оказывал помощь. Ну, а кто не обращался в ревком, но нуждался в поддержке, к тому он сам шел на дом. И никто не знал, когда Самсоныч спал.

Однажды теплым весенним вечером он заглянул и к нам. Белая полотняная рубаха, перехваченная ниже талии шнурком, ниспадала чуть не до колен. Бронзовая от загара лысина блестела. Русая борода до пояса раскинулась по мощной груди. Приостановившись, он внимательно оглядывал двор, покосившуюся хатенку, полуразвалившиеся стайки...

— Никак Самсоныч пришел, — ахнула мать. — Господи, стыд-то какой, кругом поруха!

«Словно граф Толстой», — подумал я и, оробев, шмыгнул на печь.

Мать продолжала причитать, когда Кремлев вошел в избу.

— Ничего, Анна Тимофеевна, у тебя вон какие богатыри растут, — кивнув в сторону братишек Вани и Пети, с веселой улыбкой

заговорил Кремлев.—Семян дадим, а об-
рабатывать землю будете сообща...

Так непринужденно, просто началась бе-
седа с этим человеком.

— Э-э-э, мать, да у тебя вон еще какой
помощник есть,— поднимаясь на рундук и
заглядывая на печь, заметил он.—Ну-ка,
малый, показывай свое «хозяйство»!

— Горе мне с ним,— волнуясь, пояснила
мать,— день и ночь что-то читает и пишет,
совсем слепой стал...

Я пододвинул Кремлеву большую стопку
потрепанных книг.

У Самсоныча удивленно взметнулись ме-
телки густых бровей, и на меня глянули
ласковые, необыкновенно голубые глаза.
Он перебирал книги, утратившие перепле-
ты и титульные листы, вчитывался в текст.

— Это же целая библиотека! Неужто
все прочел?— воскликнул он.— Постой-
постой, а это что?— И он начал разворачи-
вать непослушные берестяные свертки,
служившие бумагой, на которых я писал
сочинения, решал задачки и рисовал.

— В школу,— повернувшись к матери,
проговорил Самсоныч,— непременно в шко-
лу надо определить мальчугана!

— Мы-то не против, обуться и одеться
не во что!

— Да, понимаю... Но ничего, скоро,
очень скоро покоимся с этой нищетой...

Ревком решал большие задачи подъема
сельскохозяйственного производства, спра-
ведливого взимания продразверстки, орга-
низации коммун. С помощью государствен-
ной ссуды, потребкооперации бедноты и
батраки постепенно высвобождались от
кулацкой кабалы. Середняки вводили в своих
хозяйствах передовые методы агротех-
ники. Возникла необходимость в литерату-
ре, журналах и газетах. Кремлев органи-
зует избу-читальню и становится лектором
по агротехнике и животноводству, атеизму
и международным вопросам.

Можно позавидовать упорству этого че-
ловека, умению рационально распределить
свое время и везде успевать.

Разностороннее развитие хозяйственной
и политической деятельности волости, пе-
реход сельской жизни от администрирова-
ния к демократии потребовали вовлечения
в работу большого деревенского актива.

— Не слишком ли много для одного че-
ловека,— сказал Кремлев в докладе на
партсобрании об очередных задачах волос-
тной партийке,— у нас теперь есть кад-
ры!

Коммунисты согласились с предложением
докладчика. На пост председателя волис-

полкома был выдвинут Михаил Василье-
вич Носков. Дмитрия Самсоновича избра-
ли секретарем партийкеи и утвердили из-
бачом.

С этого времени изба-читальня стала
центром не только культурно-просветитель-
ной работы, но и всей экономической и
хозяйственной деятельности села.

Самсоныч оставался не только избачом,
но и штатным учителем. Школа из хи-
барки перешла в большой поповский дом.

Дом этот стоял рядом с церковью на
площади, раскинувшейся по крутому бере-
гу реки. Место это было красивым и на-
зывалось Красной горкой.

Ранней весною, как только начинало
припекать солнце, молодежь покидала на-
сиженные места зимних вечеров и устрем-
лялась на Красную горку. Она устраивала
здесь игрища. Ночами слышались отсюда
разухабистые, часто непристойные песни и
надрывные мелодии «тальянки».

Много времени и сил потратил Самсо-
ныч, чтобы вовлечь в школу детей-пере-
ростков деревенской бедноты. В числе та-
ких счастливчиков, впервые перешагнувших
порог школы, оказался и я.

Неожиданно ранним утром у нас в доме
появился Самсоныч.

— Ну, «самоучка», меряй!— еще с по-
рога, бросив на пол солдатские ботинки,
весело заговорил учитель.— А пиджак-то
готов? Ну и прекрасно...

Кремлев повел меня на учение. Хоть бот-
инки были на одну ногу и невероятно
тяжелы, я чувствовал себя на седьмом
небе и не отставал от широко шагавшего
бородача. Но стоило войти в школу и уви-
деть ряды выстроившихся ребят, я оро-
бел.

Самсоныч оглядел детей, улыбнулся и
запел:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окремнем в борьбе...

Ребята дружно подхватили знакомую пе-
сню. Затем нас развели по классам. Меня
Самсоныч посадил сразу в третий класс,
который занимался в одной комнате с
четвертым. Занятия в этих классах вел
сам Кремлев.

Видно было, как он любил детей, моло-
дежь.

— Вы — наша смена. На вас большая
надежда, ребята,— говорил он на первом
организационном комсомольском собра-
нии,— вас сейчас пять человек, но это уже
большая сила.

Так появилась в нашем селе комсомоль-
ская ячейка. Первыми комсомольцами были

Яша Зайцев, Федя Пискунов, Клава Петропавловская и другие.

Перед комсомольцами Самсоныч поставил сразу же практические задачи по организации Народного дома, драмкружка, стенной газеты и установке радио. Все это было для нас новым, порою даже непонятным, но брались комсомольцы за дела с большим энтузиазмом.

Здесь же, в избе-читальне, были организованы занятия по политграмоте.

А сколько у нас было радости, когда Дмитрий Самсонович привез из Щегловска батарейный радиоприемник. Сам Кремлев оказался незаурядным радиотехником. Мы помогли ему во всем. Устанавливали антенны, натягивали антенну, монтировали приемник. Ночами напролет не смыкали глаз. Когда впервые услышали голос Москвы, буквально замерли.

Многим эти новшества были не по нутру. Проходя мимо избы-читальни и слыша скрипучий неразборчивый голос громкоговорителя, крестились:

— Упаси нас, господи, от прегрешений!

Часто было и так — утром радиомачты оказывались на земле. Всматриваясь в излом, обнаруживали надпилы.

Потянулась за комсомолом молодежь. Теперь уже под силу были крупные дела. Передали комсомольцам большой дом бывшего крупного купца Пастухова. Каждый вечер в течение двух месяцев комсомольцы, молодежь выходили на субботники, приспособляли здание под Народный дом. Внутренние стены выпилили — получились большой зал. Разобрали пастуховскую мельницу, перетаскали из-под горы бревна и пристроили сцену. Сделали скамьи.

Трудно и подолгу готовили постановки, но недостатка в зрителях не ощущали. Всегда зал был полон. Самсоныч был и режиссером, и суфлером...

Суббота накануне пасхи. Красная горка. Огромные языки пламени костра выхватывали из черноты ночи разгоряченные лица парней и девчат. Площадь гудела. Песни сменяли одна другую: «Смело, товарищи, в ногу», «Вихри враждебные», «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и, как один, умрем в борьбе за это»...

В костер подбрасывали и подбрасывали охапки сосновых сучьев. Мрачной глыбой стояла притихшая церковь. Там другой мир. Надо было выманить парней и девчат со всенощной.

Костер снова вспыхнул. Фейерверком взвились в бездонную темень искры, отра-

зившись мириадами звезд в золоте церковных куполов и крестов.

— Этот бастион мракобесия построен на развалинах переселенческого пункта — острога, — начал рассказ Яша Зайцев. — Острог этот был возведен царским самодержавием в начале семнадцатого столетия для пересылки политзаключенных. Тогда силою кнута и оружия подчиняли народы. В восемнадцатом веке эта система деспотизма и порабощения была заменена крестами попов. Церковь верою в бога подчиняла народ буржуйам...

— То было при царизме, а теперь на кой ляд она, церковь-то!? — подходя к огню, вскрикнул Василий Акемтьев. Он медленно, всем корпусом повернувшись к костру и выхватил горящую жердь. Бычьи глаза и шея налились кровью.

Этого верзилу-инвалида боялись в селе не только девушки, но и парни обходили стороной, хоть и знали, что, обладая богатырской силой, он был малоподвижен и неповоротлив, ходил так, словно лом проглотил. Так его и прозвали «Василий Деревянный».

— Ребята! Пошли за мной! — настаивал Василий Деревянный. Длинная тень его качнулась, упала на площадь и уперлась в церковную ограду...

— Долей кресты! — где-то в темноте за нашими спинами подхватили голоса.

Неожиданно на свет костра вынырнуло знакомое бородатое лицо.

— Товарищи! Не поддавайтесь провокации, — властно хлестнул голос Самсоныча, от которого все враз остановилось. Василий Деревянный, бросив жердь, скрылся в темноте. — Эта выходка врагам на руку. Нуте-ка садитесь, ребята, подумаем, как лучше вести борьбу с религией...

В один из вечеров Самсоныч долго засиделся с крестьянами за беседой о переводе сельскохозяйственного производства на кооперативные начала. Беседа вызвала не только интерес, но и горячие споры.

Мы не заметили, когда все разошлись. Самсоныч перечитывал еще невысохшие лозунги к девятой годовщине Октября. К революционным праздникам готовились всегда основательно. Заранее подыскивали флаги, писали лозунги и делали макеты-карикатуры на злобу дня. На демонстрацию всегда приходили рано. Вставали в колонны дружно. Впереди шел обычно Кремлев.

— Ну, ребята, пора! — сказал Самсоныч. — Вон какая темень на улице.

Никто из нас тогда не подозревал, что

мы последний раз видим это дорогое лицо, слышим этот спокойный голос...

Перед рассветом тревожно постучали в окно.

— Самсоныча убили! Убили Самсоныча! — полоснули по сердцу страшные слова.

Хоронили Дмитрия Самсоныча Кремлева всем селом. Гроб с телом бережно несли на руках. От избы-читальни до кладбища растянулась траурная процессия. Равнодушных не было. Люди плакали и пели. По селу катилась скорбная мелодия:

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В борьбе беззаветной к народу.
Мы отдали все, что могли, за него,
За счастье его и свободу...

Газета «Кузбасс» 5 ноября 1926 года опубликовала обращение:

«ПРОСВЕЩЕНЦАМ КУЗНЕЦКОГО ОКРУГА

Дорогие товарищи!

Вчера похоронили товарища Кремлева Дмитрия Самсоновича — одного из более ценных политпросветработников деревни — избача, коммуниста, секретаря ячейки ВКП(б), своей деятельностью проникшего во все области жизни деревни.

Он убит на своем посту — в избаче — за составлением плана дальнейшей работы.

Эта утрата для нас очень тяжела.

Но это смущать нас не должно! Наоборот — открытое выступление антисоветских сил деревни должно принести больше стойкости в наши ряды.

Не вешайте головы!

Смелее и бодрее будем бороться на третьем фронте — фронте просвещения!

Кузнецкий окрпрос»

1966 год. 3 ноября. Мы стояли, обнажив головы, и не замечали ни пурги, ни лютого мороза. Склонили знамена пионеры. Медленно сползало полотнище, открывая белую мраморную плиту. И вот уже закружились снежинки у слов, отчеканенных золотом:

«КРЕМЛЕВ

ДМИТРИЙ САМСОНОВИЧ

1861—1926

работал в селе Верхотомке с 1920 г.

Первый предревкома,
секретарь ячейки ВКП(б),
избач.

Убит врагами коллективизации

3 ноября 1926 г.»

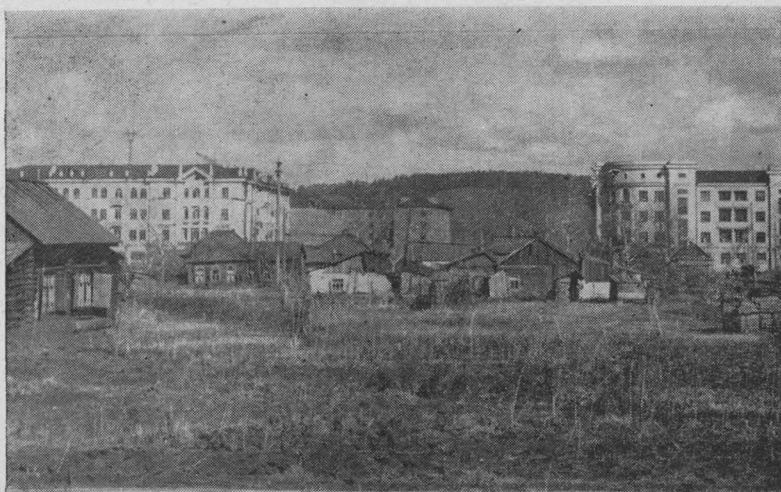
...Я слышу, как называют мою фамилию, подхожу к импровизированной трибуне у нового сельского клуба. Порывы студеного ветра колышут знамена, бросая красный отсвет на мокрые от слез ребячьи лица. Что же сказать вам, дорогие мальчишки и девчонки? Признаться, я долго готовился к выступлению. Хотелось найти такие слова, чтобы вы все поняли, как трудно было дедам и отцам воевать за сегодняшнее счастье. А вот теперь и не знаю, смогу ли донести до вас все, что у меня на душе: вышел на трибуну, и куда-то улетели заранее обдуманые фразы. Скажу вам, ребята, только одно: пусть память об учителе-коммунисте Кремлеве поможет вам стать достойными дела, за которое он отдал свою жизнь!

с. Верхотомское
Кемеровского района

Улица Весенняя. Она радует глаз зеленой свежестью бульваров, своеобразным архитектурным ансамблем. Старожил Кемерова, фотолюбитель П. Ф. Мельников рассказывает нам о Весенней улице своими фотографиями. Одни сделаны двадцать с лишним лет назад, другие — сегодня.



1938 год. Об асфальте тогда не мечтали



1955 год. На месте будущего драмтеатра



Улица Весенняя сегодня



Областной драматический театр имени А. В. Луначарского

ПРОБЛЕМА?



ДА, ПРОБЛЕМА

Н. Спирина

ПРЕДАННОСТЬ ЗАВОДУ. ОТКУДА ОНА?

Играли попеременно два оркестра. Зал был залит «сотней солнц», сверкал чистотой и необычным убранством. Красивые букеты живых цветов в суровом сибирском феврале отзывались в душе теплотой. Народ собирался дружно. Нарядные, шумные, сияющие, люди перекатывались волной от одной группы к другой, крепко жали руки, о чем-то спрашивали на ходу, шутили. Казалось, собралась в один дом большая родня...

Так начинался традиционный слет ударников коммунистического труда на Кемеровском ордена Ленина азотнотуковом заводе. Право попасть на слет получили лучшие из лучших.

Знакомлюсь с одним из них. Виктор Михайлович Саламбаш, машинист-компрессорщик. Заводу отдал 30 лет.

— Работу свою я люблю. Цех у нас хороший, постоянно занимаем классные места. Мне приятно, что я тружусь в таком добром коллективе. По мне, так лучше завода и быть не может. Корнями я тут прирос. Вырви меня отсюда, вмиг засохну. Понимаете, какая штука,— продолжал Виктор Михайлович,— езжу я из года в год в цех, вроде одно и то же, надоест должно. На пенсию уж скоро, а я в душе все молодым себя чувствую. Мне и в будни здесь интересно, а уж в праздники и говорить нечего, весело у нас...

«А теперь поговорю с самым молодым участником слета»,— решила я про себя и остановила наугад рослого, элегантного, в модном галстуке молодого человека.

— Илья Павлович Паутов, фрезеровщик,— представился он мне и рассказал:

— «Азот» для меня как батя родной. Я и не представляю, что можно куда-нибудь еще идти. У нас же здесь здорово. Я даже на танцы, будучи парнем, только в свой клуб ездил. Меня всегда сюда манит, я тут как в своей тарелке, ребята все знакомые. Я и жену сагитировал перейти на наш завод. Теперь вот много лет вместе с ней поем в хоре. Что привлекает меня на заводе? Как вам сказать? Пожалуй, вот что: нет у нас ни в чем напыщенности, казенщины. Если уж что проводится, то от всей души, и я здесь душой отдыхаю.

— Сколько лет вы работаете на АТЗ?

— Я мальцом сюда пришел, а теперь у нас уже две дочери в техникуме учатся.

— А я ведь вас за молодого принял.

— Вот и отлично, значит я действительно молодой...

Поистине завидной показалась мне организация «чашки чая», на которую пригласили всех присутствующих после концерта. Столы были сдвинуты и празднично накрыты. Залы радиофицированы. Микрофон на длинном шнуре «путешествовал» от одного стола к другому. Речи были короткие, искренние. Потом слушали соло на трубе, танцевали, пели.

Не будем ханжами. Какой праздник обходится без рюмки вина? Все дело в том, как все это организовано. На азотнотуковом за последние годы ни на одном мероприятии не было ЧП. А ведь раньше, рассказывают, хотя и запрещали водкой торговать, за вечер милицейская машина увозила в вытрезвитель не одного рухнувшего без памяти азотовца. Что противопоставить этим гнусным выпивкам из-под полы

и закуске «рукавом»? Решили: надо изменить в корне характер проводимых мероприятий, сделать их привлекательными, объединить людей. При такой постановке дела добрый праздничный ужин с рюмкой вина не повредит, а создаст домашнюю обстановку...

Забегая вперед, приоткрою «механику» подготовки торжеств, которые проводят здесь не скупясь. Каждый раз заранее назначается комиссия из тридцати-сорока человек. «Штатных единиц», которым все в конце концов становится «до лампочки», здесь не признают. В комиссию стараются привлечь как можно больше «свежих голов». Пусть, мол, изобретают «порох». А ужины? Те, кто идет на торжество (а решает это коллектив цеха), вносят небольшую сумму в кассу столовой. И потом уж никаких буфетов и очередей.

Намеренно так подробно рассказываю о слете. За многие годы журналистской работы мне доводилось бывать на всяких мероприятиях, но ничего подобного нигде я не видела. Это был добрый искристый, без единой заминки семейный праздник. Казалось, молодая кровь бурлит в старом «Азоте». Здесь всем было хорошо, хотя семья собралась не маленькая, человек пятьсот, наверное.

На слете была делегация из Горловки. Горловские химики не скрывали своего восхищения поведением директора завода В. Г. Коптелова. От начала до конца вечера он был настоящим дирижером и заводилой. А какое это огромное значение имеет, когда первый руководитель способен «зажигать» людей, вести их за собой, влиять собственным поведением на психологическую обстановку.

Между прочим, в конце вечера меня разыскал Виктор Михайлович Саламбаш:

— Теперь вы поняли, почему я проработал на Азоте тридцать лет? Свой я тут, и все мне здесь свои.

Технически вооруженный, деловой двадцатый век требует от человека большого умственного напряжения, развортливости, инициативы. Постоянно растет нагрузка на нервную систему. Поэтому для любого руководителя одинаково важной должна стать забота не только о новой технике и технологии, но и о производственно-психологическом климате. Создание доброго настроения в коллективе становится одной из наиболее важных, если не самой важной, гранью управления. Если разобраться, то привязанность человека к предприятию, забота о нем идет не столько от высокой

степени механизации и большой зарплаты, сколько от той обстановки, которая царит в коллективе.

Приехала я на завод после новгодних праздников. Здесь все еще напоминало об ушедших торжествах. У проходных на территории завода в утренней темноте сверкали разноцветными огнями елки. В столовой еще не убрали рождественские украшения, и елка в центре зала переливалась блестящими игрушками, будто даря всем улыбки. Мелькали обрывками теплые воспоминания о молодежном бале.

Но вот в эту радужную атмосферу, будто сигнал SOS, возвратилась тревожная весть: на исходе бутанол, и это грозит срывом выпуска очень ценного, нужного стране продукта — изооктилового спирта. Виктор Кузьмич Таратута, заместитель директора по коммерческой службе, человек опытейший, имеющий широкие связи по всей стране и не умеющий достать, кажется, только птичьего молока, по нескольку раз в день заходил к директору завода Виталию Григорьевичу Коптелову и докладывал о ходе дел. Звонили в разные города Союза. Посылали телеграммы. Связывались несколько раз с Москвой, но попадали все не на тех людей, которые могут решить вопрос. В обеденный перерыв в столовой специалисты говорили о бутаноле. Даже в автобусе после смены химики вели речь о том же. Создавалось впечатление, что проблема эта стала беспокойством, заботой для всех, а не только для тех, кто непосредственно был связан с этим производством.

Люди болели за судьбу плана, за судьбу завода и потому принимали близко к сердцу, в общем-то, обычное, не выходящее из ряда вон, затруднение. Жизнь на заводе шла своим чередом, и параллельно с этой возникшей проблемой решались сотни других больших и маленьких дел.

Сейчас стало модным создавать в институтах, на заводах группы социологического исследования. Кое-где на предприятиях появилась даже штатная единица — инженер по социологическому исследованию. Несомненно, это очень полезное дело. Но оно еще в начале пути. Пока же и в толстых, и в тонких книжках можно найти, очень немного рекомендаций, советов, как же управлять настроением людей. Со временем, видимо, эта грань станет основой основ всех остальных граней управления. А пока каждое предприятие нащупывает свои «шахматные» ходы.

Руководство азотнотукового завода и в

первую голову директор В. Г. Коптелов придадут огромное значение работе с людьми, их эмоциональному настрою. На заводе есть ходячее выражение: «Одна улыбка — двадцать минут хорошего настроения». Чего только не изобретают здесь, чтобы порадовать азотовцев, чтобы одной улыбкой было больше.

В столовой, в центре зала, там, где обычно устанавливается елка, к 8 марта вот уже несколько лет появляется огромная береза с распустившимися листьями. Пустяк, мол. А пустяк ли? Во имя того, чтобы женщины, придя в этот день на свое торжество, увидели вдруг весну и «оттаяли», кто-то заранее едет в лес за березой, потом следит повседневно, чтобы дерево распустилось как раз вовремя. И все ради того, чтобы на миг всколыхнулись в душе женщины нежность, добрые чувства. Это одно из самых тонких проявлений внимания к человеку. Путь его к душе короткий, а отдача — самая максимальная.

Надо было видеть, как готовились мужчины завода в этом году к 8 марта. Несколько раз собиралась комиссия. Ломали голову: что бы такое придумать, чтобы каждой женщине было приятно. Решили подарить по букету цветов и коробке конфет. Сказать легко. Шутка ли: 500 букетов, 500 коробок. Начало марта в Сибири — лютая зима, так что цветы — проблема. Все же сумели договориться — букеты доставили самолетом из Москвы. Труднее оказалось с конфетами. Обратились на местную фабрику — там только руками развели: «Мы и за месяц столько коробок не готовим». Словом, по договору с фабрикой азотовцы сами сделали коробки, расфасовали конфеты. И когда красивые, молодые, как на подбор, ребята вручали подарки, женщины на глазах помолодели.

И доклад свой директор закончил не обычно. Он прочитал письмо Карла Маркса своей жене: «Моя любимая! Снова пишу тебе, потому что нахожусь в одиночестве... Ты вся передо мной как живая, я ношу тебя на руках, покрываю тебя поцелуями с головы до ног, падаю перед тобой на колени и вздыхаю: «Я вас люблю...».

Говорят, капля по капле камень точит. Если все «капли» вместе слить, получится «веселый ручеек». Тот самый, что радует нас.

Как «приспособить» одного человека к другому, как соединить разобщенные характеры в единый коллектив, создать благоприятную атмосферу на заводе — эта проблема никогда не снимается с повестки

дня партийного комитета АТЗ. Где бы ни возникла идея, способствующая хорошему настроению, какой бы пустяковой она, на первый взгляд, ни показалась, в парткоме от нее не отмахиваются. Обсудят и, если убедятся, что «одной улыбкой будет больше», непременно претворят ее в жизнь.

Справедливости ради надо сказать, что директор завода не только охотно поддерживает идеи, но частенько предлагает их сам, нередко участвует в подготовке каких-то мероприятий и уж непременно контролирует лично особо важные затеи.

Второй год, например, зимой азотовцы проводят эстафету командиров производства. «Четырехугольник» цехов бежит на лыжах по одному километру. На лыжи встают и стар, и млад, и полные, и худые. И соль вовсе не в спортивных достижениях, хотя по всем правилам присуждают первые три места. Зато эта эстафета (проводится она на реке, в центре города) собирает сотни людей. Азотовцы приходят целыми семьями. Сколько здесь бывает смеху, веселья! Призы — огромные торты — тут же разрезают и с шутками угощают друг друга.

Не менее интересно проходит открытие туристской базы. На других базах обычно говорят речи, разрезают ленточку. А тут устраивается футбольная встреча. Директор завода набирает команду из работников заводоуправления и выступает против команды, созданной из руководства цехов. Не беда, что в воротах стоит заместитель директора, инвалид войны Виктор Кузьмич Таратута, способный лишь одной рукой ловить мяч, не беда, что кто-то запыхавшись, просто постоит на поле... Зато какое оживление охватывает всех, какой непринужденной становится атмосфера.

Или вот в прошлом году на заводе родилась новая традиция — отмечать появление наследных «принцев» и «принцесс». Коллектив торжественно чествует мать и дарит на приданое 50 рублей. Все это вошло в систему, на эти цели выделяются средства.

В завкоме несколько человек наперебой рассказывают мне, как чествуют здесь ветеранов войны. Их более пятисот, 9 мая на площадь приходят нарядные люди. У многих грудь в орденах и медалях (азотовцы в общей сложности имеют более четырех тысяч наград). Каждый год к этому празднику приурочивают какое-нибудь событие. В прошлом году, например, открывали обелиск в честь азотовцев, погибших в Великую Отечественную войну.

Разыскали и пригласили родственников погибших. Оркестр, песни военных лет, горы весенних цветов, парад ветеранов войны.

Женщина, что рассказывает мне об этом, очень волнуется, она хочет, чтобы я поняла, какое это для них важное событие...

— Посмотрели бы вы на азотовцев в этот час. Сдержанные, важные, гордые... Может, я пышно говорю, но это так на самом деле. В прошлом году у нас немецкая делегация была. Так не выдержали, плакали немцы...

В этом году я побывала на Азоте в День Победы. Машины останавливались далеко от территории завода — так много собралось людей. Я вспомнила ту женщину с ее сбивчивым рассказом. Поистине, все было торжественно и трогательно: и парад участников войны, и обелиск, утонувший в венках и цветах, и рыдающая неслучайно у обелиска пожилая женщина, и рекем, всколыхнувший душу... А потом был праздничный ужин для всех ветеранов войны. Текли неспешно солдатские воспоминания, и то бравое, то грустно звучали песни тех лет. Подобрели, раскрылись солдатские сердца. Наверняка вот эти часы, проведенные вместе в такой искренней обстановке, имеют куда большую силу, влияние на «психологический климат», чем сто грозных приказов, вместе взятых.

— Да, уж здесь умеют за живое тронуть, — делилась со мной позднее заведующая парткабинетом Галина Ивановна Соболева. — Я-то тут недавно, но уж так прикипела душой, что и представить не могу себя где-то на другом месте. До этого по долгу службы мне доводилось видеть десятки хороших коллективов, но такой гордости за свой завод я нигде не встречала. Здесь как-то не принято, чтобы человек отработал автоматически смену — и скорей домой. У каждого есть свои интересы, каждый хоть в чем-то, пусть самом незначительном, но проявляет инициативу.

— Очень нарядно и весело проводятся у нас все торжества, — рассказывала мне Зоя Михайловна Чернеева, начальник производственно-технического отдела. Ей пора бы на пенсию, но она с тоской думает об этом, все же заводу отдана лучшая часть жизни.

Я прониклась симпатией к этой женщине, энергичной, по-модерному работоспособной, точной в своих действиях, умеющей любое начатое дело довести до логического конца. Она считается одной из наиболее

сильных начальников отделов. Наблюдая за Зоей Михайловной, думала: наверное, в том, что она сохранила силы, ровность характера, интерес к жизни, не последнюю роль сыграли благоприятная обстановка на предприятии, «психологический климат». Ни усталости, ни нервозности, так характерной для женщин ее возраста, в ней не чувствуется.

Бережь нервную систему человека, для которой даже в наш просвещенный век не придумали «запасных частей» — может ли быть миссия более благородной?

Нет сомнения, что все эти торжества, затишье, порой даже ребяческие, имеют прямую связь с производственными делами. Заботятся о добром настроении людей и здесь, непосредственно на рабочих местах.

Вот, например, начальник самого крупного цеха завода Вениамин Тимофеевич Путилов. Лучше него на заводе никто не знает производство аммиака (кстати, в этом цехе выпускается самый дешевый в стране аммиак). У него особое чутье к технике. Способный, уравновешенный, он научил всех в цехе не кричать друг на друга. Проявляет большую терпимость к недостаткам людей, старается искоренить эти недостатки.

Лично заинтересован в судьбе каждого подчиненного. С одинаковой охотой решает производственные и личные дела людей.

Знакомясь с Козловым — технологом этого цеха, — я сначала подумала, что мне повезло — до того это был интересный человек. Сильный инженер — это само собой. Увлекается наукой управления и философией. Коллекционирует пластинки всех знаменитых оперных певцов. Со страстью собирает записи с голосом Шаляпина. Изучает немецкий язык. Любит Алексея Толстого и Александра Куприна. Неравнодушен к спорту. На завод (эдакую даль!) непременно ходит пешком.

Познакомившись с заводом основательнее, я узнала, что в том же первом цехе механик Николай Дмитриевич Ковшов не менее интересный человек, чем Козлов, и кое в чем даже сильнее. И что этих двоих можно спокойно поставить в ряд с сотнями других азотовцев, для которых отличное знание техники, увлечение искусством, музыкой, литературой, спортом, желание расширить свой кругозор являются такой же естественной потребностью, как жить, дышать, работать.

Сейчас, когда калейдоскоп фактов и событий для меня крутится чуть медленней и все раскладывается в определенном по-

рядке, могу уверенно сказать: увиденное на азотнотуковом превзошло все мои ожидания, поразило меня и искренне порадовало. Почему? Неторопливо прокручиваю ленту впечатлений в своем сознании: многочисленные добрые традиции, зарождение новых веяний, спортивная работа, самодетальность, кинолестерий... Стоп! Мне доводилось бывать на многих предприятиях области. И там работа по всем этим позициям проводится довольно интересно. Но здесь что-то свое, особенное, теплое, что ли, отчего на каждом шагу и по любому поводу я слышала гордое: «Мы — азотвцы».

Снова не спеша прогоняю ленту впечатлений. Вглядываюсь внимательно, словно пытаюсь проникнуть в великую тайну художника. Сравниваю.

Еще раз стоп! Пожалуй, вот она соль. Все, что здесь проводится, не имеет даже малейшего налета формализма. Любая забота производственная ли, общественная ли становится заботой каждого трудящегося, его личной ответственностью. Один инженер так и сказал мне: «Наши личные интересы во многом сходятся с интересами общественными». А ведь это по сути близко к тому варианту управления, которого многим предприятиям еще не хватает. Люди видят, что внимание к ним, это не просто «галочки» в талмудах, это искренняя заинтересованность в их судьбе, в их настроении. Химики приходят на свой завод, как в дом родной. Они знают, что здесь сердечно порадуются их успехам, помогут, если случится горе, незлобно накажут, если провинишься. И они свято чтут этот дом, дорожат его честью, гордятся своей принадлежностью к нему.

На автобусной остановке наблюдаю такую картину. Час пик. Из проходных потоком текут люди. Одна за одной подходят машины. Поток тает. Все спокойно. Но вот какой-то парень норовит сбоку проскокить впереди женщин. На его плечо сзади ложится крепкая рука:

— Отойди, не позорь азотовцев!

Кстати, проблемы транспорта на Азоте нет. А раньше была просто мука. Сейчас автотранспортное предприятие работает с заводом, можно сказать, в единой упряжке. Организованы маршрутные автобусы-экспрессы, доставляющие рабочих от дома до проходной и назад без единой остановки. Отправляются они в строго определенное время. Если опоздаешь — обижайся на себя. Завод выплачивает автобусному парку определенные суммы денег, выделил

сорок заводских контролеров, чувствует шоферов, обслуживающих азотовцев. Недавно пятерых водителей завод наградил за хорошую работу именными часами.

Надо ли пояснять, что человек, спокойно доехавший, особенно в зимние суровые морозы, до цеха, всю смену будет в хорошем расположении духа.

Есть на заводе любопытный документ: «Рекомендации о стиле работы руководителей и организаторов производства». Вторым пунктом записано: «Главным «элементом» производственного процесса являются люди. Необходимо постоянно проявлять заботу о производстве, но в первую очередь о людях, помогать им, защищать их, если они этого заслуживают». Все 24 пункта рекомендаций написаны просто, тепло, проникнуты вниманием к человеку.

И это не пустые слова. В цехах, как правило, нет никакой нервозности, суеты, дерганья. Люди есть люди. Не все они одинаковы и уж, конечно, не все идеальны. Случаются «звверты» и недоразумения. Одно несомненно: атмосфера на азотнотуковом заводе такова, что люди не чувствуют себя здесь инородным телом.

Что же дает такая благоприятная обстановка заводу? Азотнотуковый — прославленное предприятие не только в городе, но и в системе «Союзсталь». В Кемерове три предприятия носят звание коллективов коммунистического труда и два награждены юбилейной Почетной грамотой, в том числе АТЗ.

Недавно в многотиражке «За азот» был напечатан трудовой отчет коллектива. Великолепный документ! И цифры, и факты в нем для человека заинтересованного «поют». Приведу всего несколько. Концентрированная азотная кислота аттестована на государственный Знак качества, одиннадцать продуктов сдаются на уровне лучших мировых образцов, тридцать шесть вырабатываются только первым и высшим сортом. За пятилетку коллектив решил увеличить объем производства в два раза против контрольной цифры и повысить производительность труда на 32 процента вместо 22 предусмотренных. В 1972 году здесь намерены достигнуть самого высокого в истории завода уровня прибыли — 23 250 тысяч рублей.

Вот на поверку чем оборачивается забота об эмоциональном состоянии людей. Вот какова «цена» хорошего настроения.

Еще одна крохотная деталь. Ни в докладе директора, ни в каких других документах вы не встретите примелькавшейся

избитой приписки «и другие», если речь идет о людях. Тут не признают этого безликого выражения, не боятся длинных списков и обычно всех достойных перечислят по имени-отчеству. А коль так уважительно помнят твое имя в «святцах», коль

не забудут о твоей серебряной свадьбе, о рождении сына, о том, что дочь выходит замуж или внуку место предложат в цехе, так, ей-богу, от такого внимания лоб можно расшибить, только б не подвести коллектив.

М. Г. Елькин,

заслуженный учитель РСФСР

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА С ЮНЫМИ ИСТОРИКАМИ

Юный историк!

В учебном году он увлеченно изучает факультативный курс, занимается в обществе, его можно встретить на беседе с ветеранами труда и на заседании депутатского Совета. Летом он то в походе по местам партизанских боев, то с лопатой в руках на раскопках древних памятников истории. Он ищет, ищет и ищет! Он прекрасный коллективист и хороший организатор; в свободное от занятий время умеет повеселиться и отдохнуть.

Как простой школьник становится пытливым юным исследователем? Об этом я и хочу рассказать на опыте, приобретенном за четверть века. Речь пойдет о большом коллективе учащихся, объединенных обществом «Юный историк» при средней школе № 1 г. Прокопьевска и городском краеведческом музее.

Передо мной фотোগрафия, датированная 22 апреля 1948 года. На ней запечатлена наша первая группа юных историков. Кто они теперь? Все члены КПСС, из них три кандидата технических наук, директор средней школы, по специальности историк, один юрист, три врача, два учителя. А из числа работающих теперь бывших юных историков три доктора наук, 21 кандидат наук, 35 учителей, из них двенадцать учителей истории, пять преподавателей высших учебных заведений по общественным наукам, есть работники горкомов партии, секретари партийных организаций на предприятиях, активные комсомольские работ-

ники. Есть и два члена Союза писателей. Почетным членом общества является Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Борис Валентинович Воинов.

Конечно, в формировании наших воспитанников первое место принадлежит школе, институтам, рабочим коллективам. Но в документах общества, письмах, телеграммах, личных выступлениях, в автографах на своих научных трудах и художественных произведениях ими высказаны признания, что работа в обществе привила им вкус к научному творчеству, к упорному исследовательскому труду.

Со дня основания общества «Юный историк», 18 февраля 1948 года, все двадцать пять лет, мы не знаем ни одного срыва занятий или даже опозданий!

Итак, что же составило жизненную силу школьной научной организации? Чем объяснить, что год от года юных историков становится все больше, интерес к работе растет? Здесь, несомненно, определяющее значение имело и имеет содержание тематики, избранной для конференций, семинаров, чтений, на которых юные историки выступают с докладами, рефератами и сообщениями. Эта тематика отвечает образовательному уровню юных историков, она актуальна, связана с жизнью и углубляет знания, получаемые в школе, является новой ступенькой в овладении основами исторической науки.

Возьмем только два последних года работы. В 1970 году мы провели чтения, по-

священные столетию Парижской коммуны. На занятиях, посвященных этим чтениям, были и такие темы, как «Литература и театр Парижской коммуны», «Изобразительное искусство во время Парижской коммуны», «Русские революционеры — участники Парижской коммуны».

Много нового и интересного сделано в ходе подготовки к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, а затем последовала углубленная работа по изучению материалов XXIV съезда КПСС.

рен, что именно в этом процессе подготовки возникает и начинает формироваться интерес к истории.

В практике работы юных историков большое место имеет подготовка рукописных книг.

Первая рукописная книга «За власть Советов» была подготовлена в 1959 году. Она была посвящена сорокалетию освобождения Сибири от колчаковщины. Основным материалом для книги явились записи воспоминаний партизан во время



На обсуждении доклада, посвященного 150-летию со дня рождения Фридриха Энгельса

Юные историки не замыкаются в стенах работы общества. Они авторитетные докладчики в школе в дни революционного календаря. Обычно мы проводим «День юного историка» в школе. В такие дни все члены общества выступают в классах, в пионерских отрядах, комсомольских группах. К этому надо добавить консультации, беседы, экскурсии по выставкам и экспозиции в городском краеведческом музее, в которых юные историки всегда принимали и принимают самое активное участие.

На протяжении более двух десятилетий я наблюдаю за подготовкой докладов и прихожу к выводу: главное, что особенно радует юного историка, — это подготовка доклада, то есть та часть его труда, которая составляет элементы исследования. Только такой доклад доставляет юному историку радость и удовлетворение. Уве-

нашей экспедиции в августе 1959 года по восточным районам Алтая и юго-запада Кузбасса. Завершили мы работу над книгой торжественной встречей с участниками борьбы за Советскую власть.

Это было волнующее событие. На встречу с юными историками из городов и районов Алтая и Кузбасса съехались 23 красных партизана. На встрече присутствовало более четырехсот учащихся школ Прокопьевска.

Наша рукописная книга составила увесистый том, содержащий восемьдесят девять записей-воспоминаний. К ним мы обращаемся и сейчас, когда на занятиях общества стоят вопросы истории гражданской войны в Сибири.

Однако творческие способности юных историков особенно проявились при создании второй рукописной книги «Прокопье-

евск — город, рожденный Октябрем». Толчком для создания этой книги послужила выставка на эту же тему. В дни открытия выставки была проведена встреча с первостроителями нашего рудника. В этой встрече приняли участие ветераны шахтерского труда, старейшие общественные деятели, врачи, учителя.

Сейчас книга содержит уже 163 очерка ста пятидесяти девяти юных авторов и является частью большой работы юных историков по воспитанию на традициях рабочего класса трудового Прокопьевска.

У юных историков во всей их посильной работе есть и свой мудрый учитель и

В то время, когда я еще учился в московском институте и изучал все, что было известно по археологии Сибири, земля Кузнецкая выглядела сплошным белым пятном на археологической карте Родины. Я выкраивал время от летних экспедиций, приезжал в Прокопьевск к родителям, на второй же день надевал заплечный мешок и отправлялся, в основном пешком, по просторам юго-западного Кузбасса. Я наносил на карту все, что могло быть связано с дальнейшим серьезным изучением древней истории этого края; а потом снова следовали экспедиции на берега Оки, в районы Казахстана.



Юные историки на раскопках поселения древнего человека

друг. Так старшие юные историки называют газету «Правда». Каждый урок у нас начинается с знакомства с очередным номером «Правды». Особое значение имеет работа с передовой этой газеты. Многие годы я наблюдаю, что у учащихся, серьезно и систематически работающих над передовой, острее политическое восприятие, они глубже воспринимают вопросы внутренней и международной жизни.

* * *

Значительное место в деятельности юных историков заняла археология.

Надо было набираться опыта в археологических раскопках, воспитывать терпение и выносливость, наблюдательность и умение предвидеть. Поэтому, возвратившись в Прокопьевск, который был знаком мне со школьной скамьи, я имел вполне зрелый план. Здесь не было элементов случайности. Была у меня мысль и о создании в родном городе краеведческого музея.

Вместе с тем, я знал и был уверен, что археология — это такая наука, которой я непременно зажгу сердца своих юных школьных друзей и сделаю эту науку мощным средством воспитания.

Археология сочетает в себе и очень важный психологический элемент, столь необходимый в работе со школьниками — радость первооткрывателя. А это составная и важнейшая часть формирования интереса к науке; но здесь есть и философская сторона вопроса: сочетание первооткрытия с постоянным стремлением к научному предвидению.

Первооткрытие и научное предвидение в области археологии, когда мы имеем дело с конкретными вещами, при умелом подходе руководителя очень и очень важно в последующем развитии уже зародившегося интереса; у юных исследователей развивается мысль, подчас обоснованная удачным воображением. И все это обращено к узловому моменту: понять, осмыслить прошлое.

Многое удается сделать во время раскопок, но в нашей практике этот интерес воспитывается и «подогревается» в подготовительных занятиях перед экспедицией.

Наше время для занятий археологией, которое мы раньше находили всякими урывками, сейчас вошло в расписание школьных занятий. Программа факультативного курса рассчитана на прочное знание основ археологии с включением вопросов научного атеизма, истории, искусства.

Занятия по факультативному курсу, как и занятия общества «Юные историки», проводятся в музее, в специально оборудованном кабинете юного историка.

В этом кабинете юные историки проводят не менее четырех часов в неделю, да и весь музей стал их второй школой. Кабинет располагает всем необходимым для занятий: здесь прекрасная справочная библиотека, большое собрание исторических карт, политических плакатов, альбомов. К услугам юных историков три киноаппарата, фотолаборатория, телевизор, магнитофоны, большая фонотека и серии диапозитивов. И самое главное — экспозиции и фонды музея. О таких условиях два десятилетия назад я мог только мечтать.

Таким образом, вся работа с юными историками в учебном году подготавливала нас к полевым занятиям. За четверть века мы провели 1087 полевых занятий, в которых приняли участие 1115 учащихся.

Я хотел бы заметить, что сделанные нами открытия в ходе экспедиции явились результатом упорных поисков. Надо было прежде всего найти объект раскопок. В моих пометках 30-х годов были указаны лишь наиболее интересные районы будущих исследований.

Первое археологическое открытие мы сделали 9 июля 1952 года. На наше счастье это была неолитическая стоянка. Первая открытая стоянка древнего человека на Кузнецкой земле. Но ведь чтобы ее открыть, мы прошли десятки километров вдоль реки Ур, обследуя буквально метр за метром ее правый и левый берега.

Это открытие явилось для нас испытанием на терпение, воспитанием воли и уверенности в достижении цели. Мы настолько дорожили этим открытием, что раскопки по частям вели несколько лет.

По предложению академика Алексея Павловича Окладникова, на секции палеолита и неолита во время работы сессии институтов истории, археологии и этнографии Академии наук СССР в 1954 году нам была вынесена благодарность.

Нас огорчало только то, что при очень большом объеме земляных работ было мало находок. Но факт оставался фактом: одно из белых пятен на археологической карте Кузнецкой земли ликвидировано. К этому поселению примыкает хронологически и открытое через девять лет другое, но уже совершенно в другом районе.

Желание сделать археологическое открытие в окрестностях Прокопьевска — было нашей заветной мечтой. Обследование речушек в Прокопьевском районе ничего не дало, кроме находок костей вымерших животных. Пришлось в интересных районах проводить сплошное обследование.

Сколько раз мы выходили на разведки — не помню, но то, что за время этих разведок мы проложили более шестисот траншей, этого забыть нельзя. Ранней весной на разведках нас заставлял в поле снег, поздней осенью мы ходили по полям до колен в грязи. Лето у нас было занято выполнением заданий по Открытому листу Академии наук СССР.

В последнюю субботу сентября 1961 года мы нашли в траншее маленькие кусочки глиняной посуды. Эта керамика была с орнаментом, а вскоре был найден и первый кремневый наконечник позднего периода нового каменного века. Как раз на второй день после открытия исполнилось семьдесят лет большому другу нашего общества, доктору исторических наук, тогда заведующему отделом полевых исследований Александру Яковлевичу Брюсову, брату знаменитого поэта Валерия Брюсова. Так мы на месте, в поле, и решили нашей стоянке дать имя А. Я. Брюсова, о чем юбиляра уведомили телеграммой. Теле-

грамма была зачитана на юбилейном заседании и опубликована в газете «Советская Россия» в статье «Необычный подарок».

Раскопки этой стоянки велись девять лет и стали школой воспитания юных археологов. Памятник оказался замечательным. Человек освоил район в окрестностях поселка Школьный в поздний неолит, оставил следы энеолитической эпохи и дожил здесь до начала бронзы. Обо всем этом нам рассказали тысячи фрагментов керамики, а керамика археологу может рассказать о многом.

Трудностей было хоть отбавляй. Остатки глиняных сосудов дошли до нас в виде обломков. После промывки начиналась невероятно кропотливая работа по составлению хотя бы частей сосудов. По орнаменту нам удалось увязать керамику из самого древнего слоя с Кузнецким неолитическим могильником, на эту же связь указали и многочисленные находки кремневого инвентаря, более поздняя керамика привела нас к связи с керамикой энеолита (Окуневская культура), и что нас особенно озадачило — это керамика самого верхнего слоя, ясно указывающая на бронзовый век, с так называемой андроновской культурой.

Находка этой керамики выдвинула перед нами рабочую гипотезу: раз есть следы андроновского поселения, значит должен быть и андроновский могильник! И снова поиски, поиски, поиски! Это заняло три года.

В июне 1964 года на левом берегу реки Ур, недалеко от открытой нами Дегтяревской неолитической стоянки, были начаты раскопки андроновского могильника, давшего нам классическую коллекцию пятидесяти андроновских сосудов. Этим третьим открытием был внесен значительный вклад в изучение эпохи бронзы на юго-западе Кузбасса. Четвертым открытием были четыре могильника позднего железного века. В жизни юных историков это подлинная археологическая эпопея с ее многочисленными радостями и огорчениями.

За восемнадцать лет с небольшими перерывами раскопано 125 курганов, в которых исследовано 375 могил. Раскопки курганов, требовавших огромных физических затрат — это подвиг юных археологов.

Материалы раскопок позволили установить все стороны материальной и духовной культуры тюрок IX—XI веков, проследить границы их торговых связей, вы-

делить характерные особенности производств, носивших местное происхождение; определить ореал духовных связей, проследить классовое расслоение, выделить главные черты в уровне культуры, религиозных верований, определить юго-восточную границу государства Енисейских киргизов в период его расцвета и падения.

Однако, как бы ни был богат материал могильников, он не мог дать освещения всех сторон жизни тюркского населения. Нам хотелось найти и раскопать поселение. Мы нуждались в пятом открытии! Все, что можно было обследовать, мы обследовали. Все наши рабочие гипотезы были исчерпаны. Наших сил стало явно недостаточно. И здесь нам помогли гурьевские школьники. С помощью гурьевских юных археологов в 1967 году была найдена территория древнего тюркского поселения на левом берегу реки Степной Бачат, на территории совхоза «Гурьевский».

За два сезона было вскрыто более четырех тысяч квадратных метров поверхности. Небольшие, образованные наносами всхолмления оказались остатками жилищ. Колоссальные скопления пищевых отходов в виде дробленых костей лошадей, коров, свиней, овец, собак. Масса дробленой глиняной посуды, железные ножики, костяные наконечники стрел, десятки очагов. Около одного из жилищ — инструменты ювелира: здесь небольшой железный молоточек, а рядом с выбитым орнаментом серебряная пластинка. А дальше большой очаг, остатки вагранки с шлаками цветного литья; много железной руды. И все вещи — полная аналогия тем, что встречены в могильниках. Кругом обожженные пни деревьев и остатки обугленных столбиков. Поселение погибло от пламени пожара, а, может быть, было разрушено в неравной схватке с налетевшими ордами врагов.

Историческая картина жизни древних племен в междуречье рек Ур и Степной Бачат восстанавливалась уже в деталях. Вот почему двенадцать научно-практических конференций, которые проходили после каждой экспедиции, всегда были интересны, оживленны, истина рождалась в спорах. А споры опирались на факты и еще раз факты. Интерес к истории возрастал, мужала уверенность в новых находках.

Внимание юных историков привлекал на всех этапах работы и феодальный период. И здесь материалов было много.

В сорока километрах от Прокопьевска,

глубоко в тайге, на берегу реки Томь-Чумыш с 1771 по 1864 год существовал железоделательный завод. Собственно, наша поисковая работа началась с этого завода.

Уже в первый год работы мы осушили болото, спустили его воды в русло реки и перед нами открылся мир феодальной техники. Здесь были гигантские шкивы, пресовальные молоты и много другой техники. Мы замыслили создать музей на открытом воздухе. Строили десятки планов. И тут навалилось на наши плечи непоправимое горе. Пронюхали о наших открытиях заготовители металлолома с Кузнецкого металлургического комбината. В наше отсутствие приехали с мощными тягачами, вывезли все и пустили легкую добычу на переплавку. Так погубили то, что ничем невозполнимо.

Грубое невежество нанесло нам ущерб, но не убило жажду знания. Мы продолжали исследования и нашли много интересного. Исследовали основание доменной печи, которое было скрыто под землей. Из фольклора нам было известно, что шестнадцатилетние подростки сорокафунтовыми молотами дробили руду. Сколько десятков тонн мы перерыли шлаков и отбросов, а на шестой год поисков нашли такой молот, изрядно оббитый со всех сторон.

Да, трудно подумать, что кто-либо из посетителей, любящих экспонатами Проктопьевского краеведческого музея, мог бы себе представить, как попали эти свидетели далеких времен и разных исторических эпох в залы музея! Когда-то понятие «школьная экспедиция» вызывало недоумение и даже недоверие! Никто, пожалуй, кроме юных историков и их руководителя, не верил, что из школьного краеведческого уголка с одной витриной вырастет за каких-нибудь десять лет государственный краеведческий музей.

Говоря о наших экспедиционных занятиях, надо отметить возрастающий год от года интерес к археологической науке. В 1968 и 1969 гг. юные историки выдержали самый ответственный экзамен: они приняли участие во Всесоюзной археологической олимпиаде и заняли одно из первых мест. Авторитетные ученые, входившие в состав комиссии по проведению олимпиады, называли наше общество «Научным обществом юных историков». Большую похвалу трудно себе и представить.

Поскольку мы заговорили о науке, очень уместно рассказать о внимании видней-

ших ученых к нашему обществу. Нашим отчетам по раскопкам не делалось никаких скидок. Ученые института археологии АН СССР Алексей Петрович Смирнов, Александр Яковлевич Брюсов, Лидия Алексеевна Евтюхова во многих письмах и личных консультациях наставляли и требовали неотступного соблюдения всех правил методики раскопок.

С большим вниманием относился к нам член-корреспондент Академии наук СССР Сергей Васильевич Киселев. Он высоко ценил нашу работу и ставил перед нами конкретные задачи. Большого внимания мы удостоились за все годы нашей работы со стороны доктора исторических наук Михаила Петровича Грязнова. Его глубокая задушевность и внимание совершенно поразительны. Он прочитывал от начала до последней страницы наши объемные отчеты о полевых исследованиях. Этот старейший археолог страны, ученый с мировым именем в своем письме в мой адрес писал: «Что касается Вашего метода привлечения школьников к археологической работе и Вашего руководства ими, то комиссия отдела полевых исследований считает Ваш метод очень удачным и вполне правильным». Директор института этнографии, член-корреспондент Академии наук СССР С. П. Толстов обратился в адрес городских организаций со специальным письмом об оказании нам помощи. Много лет за нашей работой следит академик Алексей Павлович Окладников. Он бывал на наших раскопках, присылает нам свои книги, непременно с автографами.

Осталось позади 42 года трудной педагогической деятельности. Много это или мало? Не берусь судить. Присматриваясь к своим коллегам, с которыми мне довелось работать десятилетия, могу сказать, что наша работа — работа учителя — требует отдачи своему делу без остатка. И если бы мне довелось все начать с начала, я начал бы так же, но с учетом и использованием лучшего опыта других.

Прекрасных товарищей было много; одни сгорели на работе в годы расцвета своих сил, другие работали долго, их жизнь достойна подражания. После их ухода они продолжают быть рядом с тобой в еще большем величии, оставаясь старшим другом и наставником во всем блеске своего таланта. Приятно видеть, что и сейчас тебя окружают прекрасные учителя, чудесные товарищи, труд которых восхищает и вливает новые силы.



МАЛЕНЬКИЙ РЯБЧИК

Из дому вышли мы вместе с Максимом Савельичем, однако в тайге разошлись: манить рябчика старик любил в одиночку. Дома он хоть вечер напролет с тобой просидит: и манок твой отладит, и сам в него посвистит, и тебя заставит — насвистишься. Тебе уже надоест, а он все будет ворчать:

— Нет-ка, парень, попробуй еще разок. А то сперва ровно курочка пискнул, а потом — петушком...

Зато в тайге ты ему не мешай!

Вот я и не стал этого делать: перед заросшим густым пихтачом взлобком, когда старик собирался повернуть налево, я остановился, сам предложил:

— Так что, Савельич, разоидемся? До обеда походим, а сбор — тут.

Он прищурился:

— Критики никак боишься?.. А ты знай, что рябки все равно мне расскажут, какой ты свистун... не те, что от тебя улетят, а те, что в мешке принесешь, понял?

Я только руками развел: верно, мол! А старик согласился:

— Ну, давай до обеда.

Я поправил на плече ружье и зашагал вбок, обходя крутую горушку справа...

В тот день мне везло, рябчика попадалось много, и хоть в рюкзаке у меня лежали всего два, никакой досады я не чувствовал. Я и манил, и сам подкрадывался, и столько раз вздрагивал, когда птица, залотосив крыльями, выпархивала у меня из-под ног, и переживал, когда целый выводок ушел на другую сторону глубокого распада — в общем, душу отвел или, как сказал бы Максим Савельич, — натешился.

А в полдень я снова подходил к тому месту, где мы расселись. По неширокой седловине вышел на вершину крутой горушки, которую в начале охоты обошел стороной, и остановился на краю крошечной полянки.

Интересная это была полянка: посрединке здесь росла уже поникшая от первых заморозков трава, а по бокам стояли кусты калины, сплошь усыпанные красными гроздьями ягод. Их окружала высокая стенка пихтача.

Я подумал, что зимой здесь будет много рябка — уж очень удобное для него это место. Поклевал мерзлой калины — и лети в пихтач, отсиживайся там в глухую непогоду, подремывай среди густых веток. А пришли сумерки, спальною долго искать не надо: слетел на полянку, пробил грудкой снег, немножко прошел под ним и спи. Высокий пихтач и здесь надежно укроет от злой метели.

Взял я манок, который на короткой шелковой нитке болтался у меня на груди, зажал в зубах. Хотел было стать за ближнюю пихту, а потом раздумал прятаться. Посижу-ка я лучше среди полянки, погреюсь под последним октябрьским солнышком...

Нашел я небольшой пенек и сел, привалившись к нему спиной, разбросал ноги в тяжелых сапогах, снял кепку. Внизу трава была волглая, от нее тонко пахло прелью, но чуть повыше ощущалось полдневное тепло ясного осеннего дня. На чистом голубом небе не было ни облачка. Стояла такая тишина, словно все вокруг чутко ждало: не послышится ли вдали тугой шорох гусиных крыльев?.. Не упадет ли с вышины на притихшую тайгу тонкий клик улетающих журавлей?

Долго я сидел неподвижно, глядя на светло-зеленые верхушки пихт, четко врезанные в край высокого осеннего неба.

Манок все еще был у меня в зубах. Я поправил его и тихонько вывел несколько колен: пи-и, пи-и... фи-фи-фи-фью!

Никто не отозвался. Я подождал и зашвистел еще раз.

И вдруг неподалеку от меня негромко треснул сучок, послышались легкие шаги.

Я напряг было шею, вглядываясь, но тут же улыбнулся: Максим Савельич!

Охотится он или нет, старик всегда ходил по тайге так тихо, что услышать его можно было только совсем рядом. Но почему он остановился?

И тут я понял: да ведь он услышал свист рябчика и решил тихонько подкрасться к нему поближе!

Я даже рот ладонью прикрыл: будет смеху, когда старик увидит меня с манком в зубах.

А шаги стихли: видно, Максим Савельич выжидал, прислушиваясь.

Тут уж я всю душу вложил в тонкий рабочий свист: пи-и... пи-и-и...

А в двух десятках шагов от меня всю старался Максим Савельич: он подвинулся вперед так тихо, что я не услышал шороха, а скорее всего каким-то чутьем о нем догадался.

И опять: я свистнул — старик тихонько продвинулся.

Меня разбирал смех, но я изо всех сил сдерживался: потом посмеюсь вдосталь! «Ну, что,— скажу,— Максим Савельич?.. Что-то критики вашей я не слышу! Или не так уж плохо я и свистел, если даже такой профессор, как вы, обмшулился!? И кого же вы думали, Максим Савельич, увидеть: курочку или петушка?».

А старик будет покачивать головой, будет, улыбаясь в бороду, побряхтывать: смотри ты, мол, — незадача!

И я снова все свое искусство вложил в тонкий призывный свист: пи-и... пи-и-и?..

Едва уловимый шорох послышался теперь совсем близко. Сейчас из-за сломанной ели покажется козырек серой кепки, а под ним — внимательные, хитровато прищуренные глаза старика.

Я голову слегка приподнял, готовый насмешливо улыбнуться Максиму Савельичу...

А над сломанной елью неслышно вырос матерый медведь.

Держа навесу передние лапы, он вытянулся почти по пояс, да так и замер, с любопытством глядя на меня маленькими карими глазами.

Я перестал дышать.

Сколько раз пытался я нарисовать в своем воображении подобную встречу! Сколько я к ней готовился! И все у меня на этот случай было до мелочей отработано: мигом переламинаю ружье, одним движением выбрасывая на землю патроны, заряженные дробью... Приподнимаю двустволку немного вверх, а правая рука

моя из специальных кармашков, на манер газырей, пришитых изнутри куртки, уже вытаскивает два усиленных заряда, поверх которых плотно лежат залитые воском круглые пули. Еще секунда, и я целюсь в мохнатую грудь зверя, нажимаю на спусковой крючок.

По правде говоря, я не раз все это проделывал раньше, готовясь, и проделывал, надо сказать, быстро и ловко.

А сейчас ружье лежало у меня на коленях, но я даже не пробовал протянуть к нему руку. Все было так, как будто мне кто-то сказал «замри», и я выполнил это самым добросовестным образом. Страх я не испытывал, а в голове у меня, повторяясь, вертелась одна и та же нелепая мысль: да ведь это не Максим Савельич!.. Да ведь не Максим Савельич, нет!..

А медведь также неслышно повалился набок и как будто взбрыкнул — над сломанной елью мелькнула бурая его спина.

Затрещали сучки, громко зашебаршала сухая листва.

Только теперь ко мне пришел страх. Сердце застучало вдруг так сильно, как будто ему, наконец, удалось вырваться из чьих-то рук, которые крепко сжимали его перед этим. Мне не хватало воздуха, я задыхался. Между лопатками что-то защекоotalo, и я почувствовал, что рубаха у меня на спине совершенно мокрая...

Негнущимися пальцами я перезарядил ружье и в полном изнеможении снова привалился к пеньку.

А вечером, когда мы сидели за столом и жена Максима Савельича потчевала нас чайком с черничным вареньем, все мои страхи уже казались мне очень далекими, и я охотно повторял свой рассказ, и сам над собой посмеивался. Лесник хитровато щурился и все покачивал головой:

— Думал, Максим Савельич попался тебе на манок, а оно, вишь — Михаил Потапыч!

Я шутил:

— А что, может быть, он и не ожидал рябка увидеть? Пойду-ка, думает, гляну, что там за специалист сидит: один раз курочкой пискнет, а другой — петушком?

Максим Савельич снова покачал головой:

— Да нет, чуял человека — не подошел бы. Видно, в самом деле хотел напоследок рябком полакомиться, чтоб было что зимой вспомнить. — Лесник огладил бороду и улыбнулся. — Ты говоришь, думал: если поверил Максим Савельич — значит, сдал экзамен на хорошо... Теперь-то можешь

считать, что сдал на отлично: экзаменатор-то попался тебе строже некуда — сам хозяин тайги!

А мне стало и немножко грустно, и стало неловко.

Выходит, если бы на манок доверчиво прилетел маленький рябчик, я бы выстре-

лил, не задумываясь? А показался зверь, который смог бы постоять за себя — и я мигом забыл, зачем у меня ружье...

Не знаю, так ли это, да только мне кажется, это с тех пор стал я по рябку все чаще и чаще промахиваться.

ЖАДЮГА

Кто его знает, как он догадывался, что мы уже собрались — может быть, через какую-нибудь щелочку за нами подглядывал?.. Потому что стоило нам сесть за стол и притихнуть за едой, как он тут же появлялся на горке дров, которые сушились за печкой, устраивался на верхнем полене и замирал, с вороватым любопытством глядя на нас маленькими черными глазками.

Ждали мы его все, но первым по неписаному правилу заговаривал со зверьком наш взрывной мастер Федор Степаныч.

— Ну, здравствуй, здравствуй, Егор Кузьмич! — говорил он неторопливо и ласково и слегка кланялся.

Остальные подхватывали:

— Явился, не запылится.

— И сразу меню разглядывать...

— Ага, что Марь Даниловна нынче сообразила...

И тут же начинали разыгрывать мастера.

— Ты спроси, спроси у него, Степаныч, с медведем-то он больше не встречался? Что-то сегодня рев слышался в распадке — никак он снова трепал его, мишку-то?

Мастер, как будто не чувявший насмешки, отвечал неторопливо:

— Наш Егор Кузьмич не драчун какой, не забияка... Чего б это он стал — на большего?

— Да ты ведь прошлый раз сам говорил!

Федор Степаныч начинал терпеливо объяснять:

— Легенда такая есть. Сказка. Будто мишка рассердился на него за что-то, да хватил!.. А он зверек юркий да ловкий, выскользнул у него из лапы — только полосы от когтей на спине и остались. Пять полос — сколько у медведя когтей.

— А прошлый раз ты говорил, вроде он сам напал на медведя.

И хоть шутка эта повторялась уже несколько дней сряду, все мы невольно улыбались, поглядывая на крошечного бурндучка, который, не шевелясь, сидел на поленице и все смотрел на нас черными, как спелая смородина, глазками.

Полевой сезон уже закончился, но наш отряд решили задержат еще на полмесяца. Мы должны были заготовить дрова для тех, кто впервые оставался зимовать в крошечном поселке Серебряный Ручей — он вырос этим летом рядом с нашей базой.

Туда сейчас каждый день прилетает большой вертолет, привозит оборудование да продукты, а обратно на нем летят уже получившие расчет бородастые счастливчики. Провожают их всем поселком. У вертолета фотографируются, дают друг другу адреса. Кто помоложе, обмениваются ножами, да поясами, да шляпами. Старички над ними посмеиваются, дают советы... весело!

А ты знай вали себе целый день пихту да березу, разрубай на поленья да раскалывай, да складывай в штабеля...

Оттого, наверное, ребята наши ходили хмурые, на работе почти не разговаривали и только в брезентовой столовой, когда появлялся маленький зверек, все вдруг оживлялись, начинали шутить да посмеиваться.

— Вы пореже, ребята, ложками, пореже!.. А то Егор Кузьмич, бедный, переживает небось, что ему не останется!

— Нужен ему твой суп — это он насчет сахарка тут старается!

Повариха наша Марья Даниловна, обходящая стол с большим черпаком, каждый раз говорила:

— А уж какой вежливый!.. Сам к столу никогда не подойдет. Вот когда скажу ему: ну, давай, теперь твой черед, Кузьмич. Бери, что тебе надо. Отойду, сяду в

уголке. Тут он и начнет объедки таскать...

— Хорошо пристроился, чего там!

— Конечно, думает, — повезло. И полевые идут и северные...

Перед тем, как встать из-за стола мастер Федор Степанович снова легонько кланялся бурундуку:

— Спасибо за компанию, Егор Кузьмич. Сделай милость, приходи еще — будем рады.

Мастера снова начинали подначивать:

— Это он тебе должен спасибо говорить, а не ты ему!

Федор Степанович отвечал неторопливо:

— Может, и он говорит, да мы не понимаем — как знать? А я ему говорю за то, что не боится нас, значит, уважает, доверие оказывает, вот что!

Мы выходили из палатки и почти все пристраивались теперь по обе стороны от двери, прячась за спиной друг у друга.

Марья Даниловна говорила приветливо:

— Ну, Кузьмич, теперь твой черед...

Бурундучок еще с полминуты сидел неподвижно, словно выжидал из приличия, а потом быстро сбежал по штабельку дров, ловко поднимался по врытой в землю ножке скамейки, прыгал на стол.

Может быть, он заранее намечал, что сначала возьмет, а что после? Потому что и суетиться он нисколько не суетился, и долго не выбирал. На один миг приседал он на задние лапки около огрызка сахара или корочки хлеба. Передними быстро брал еду со стола, подносил ко рту. Крошки да мелкие осколки исчезали у него за щекой, кусочки побольше оставались в зубах.

Бурундучок становился на все четыре лапки, юрко бежал по столу, ловко поворачиваясь среди неубранной посуды, потом прыгал на скамейку, с нее — на земляной пол. Мигом взлетал он на поленицу, где только что сидел перед этим, и тут же пропадал внизу за дровами.

Не было его одну-две минуты, а потом он появлялся снова. Сидел на задних лапках, держа передние на весу, с любопытством смотрел на повариху. Потом все повторялось сначала.

Ребята у входа добродушно посмеивались:

— Вот трудяга!

— А сладкая у него работенка, а?.. Сахар таскать.

Рабочий Семенов, длинный суетливый парень с большими оттопыренными ушами, громко удивлялся:

— Ну, куда ему столько? От жадюга!..

Нет, ты смотри, смотри, к какой краюхе примеривается!

Семенова почему-то недолюбливали в отряде и теперь, когда начинали разыгрывать, называли только по фамилии:

— А если у него семья большая, Семенов!

— Или друзей много.

— А может, это приходит каждый раз другой зверь? Один хорошенько запасется, другому скажет. Тот разживется тут — потом третьему.

Семенов убежденно говорил:

— Не-е!.. Я его насквозь вижу — один и тот. Видишь, хвостик у него на конце — как надорвал чуток. Ну, куда ему, побитому, столько? От жадюга!

Если Федор Степанович был в это время где-либо неподалеку, он обязательно выговаривал Семенову:

— Побире-уша!.. Зачем так? Просто трудолюбивый зверек, не то что... И для него это такая же работа, как орешки в лесу собирать.

Семенов недоверчиво кривился, говорил почему-то зло:

— Рассказывай!

Вообще-то он какой-то странный был, этот Семенов. После обеда все уже ушли на делянку, а его от палатки не оторвешь.

— Сейчас, — говорит, — сейчас, ну, погоди! Неужели он и еще вернется? Идет, гля-ян!

Он оборачивался и с каким-то мучительным недоумением в белых глазах вскрикивал:

— Седьмой раз идет, ты гляди, — ну, куда ему!

Однажды перед обедом я подходил к столовой и еще издали услышал говор и смех. Ребята в палатке сгрудились вокруг стола, что-то разглядывали. Громче других звучал голос Семенова, и в нем слышалось то ли торжество, то ли превосходство:

— Всю неделю приглядывался, а он — как сквозь землю! А потом гляжу — юрк! Небольшой пенек рядом с палаткой в траве, под ним он и приспособился...

Федор Степанович сказал сердито:

— Увидал, и ладно. Забирать зачем? Подчистую выгреб!

Семенов дурашливо подмигнул:

— Интересно же!

Я приподнялся на цыпочках, заглянул в середину. На столе была насыпана горка из сахара и сухарей вперемешку с вермишелью да пшеном, да сушеными вишнями.

— Ну, теперь-то ты, Семенов все до точности подсчитаешь — чего сколько...

Марья Даниловна, которая, пригорюнившись, стояла около стола, покачала головой, сказала жалостно:

— Как же он теперь, Кузьмич-то?.. Ах ты, разоритель, Семенов, ах, разоритель!

А ребята все шутили:

— Придется ему снова на подножный корм переходить!

— Оно, конечно, после сахарка не так легко!

Семенов, чувствовавший, видно, себя героем, с лихостью приизнес:

— Перебьется!

В палатку вошел наш радист, сказал, что на базу требуют отчет по взрывным работам, и Федор Степаныч распорядился:

— Пойдешь ты, Семенов, промнешься. А по дороге чуток подумаешь...

Семенов ушел.

Сахар да сухари, да все остальное Марья Даниловна ссыпала со стола на картонку и положила ее на поленище за печкой: пусть бурундучишка заберет все обратно.

За ужином все с надеждой поглядывали на горку дров, но зверек на своем обычном месте не появлялся. Федор Степаныч, первым вставший из-за стола, огорченно покачал головой и только рукой махнул.

Вечером, когда мы уже лежали в своих мешках, он разворчался. Ругал Семенова, который задержался на базе: конечно, рад, лодырь, случаю побездельничать! Докачал на себя: как чувствовал ведь, что тот может обидеть бурундука — почему не предупредил?

Он ворчал долго, всем надоел, и Ваня Бусов, первый наш балагур, сказал ему, наконец:

— Ну, хватит тебе, Степаныч! У нас вон тушенки сколько останется, не съедим. Спешим ящик — на всю зиму твоему Кузьмичу хватит...

Остальным лишь бы позубоскалить:

— Ага, только и ножик консервный надо ему оставить!

— Думаешь, так не разгрызет?

— Да зубы он конфетами городскими испортил...

Под эти шутки я и уснул.

А утром разбудил меня Федор Степаныч.

— Пойдем, что покажу...

Я наскоро оделся и вслед за мастером вышел из палатки. В лагере лежал снег.

Белым были покрыты и наши палатки, и кусты, и ближний перелесок, и покатые холмы и горы вокруг. На синих гольцах вдалеке стыла желтая полоска зари. Было зябко.

Я, поеживаясь, сказал:

— С зимою тебя, Степаныч!

Он как-то странно развел руками — как будто в чем был виноват:

— Да вот, видишь!..

Я подошел за ним к невысокому кусту, который рос напротив нашей столовой. Около куста стояла повариха и плакала. Федор Степаныч снова развел руками и горько сказал:

— Эх, беда!..

И тут я увидел: на одном из сучьев неподвижно висел маленький бурундучок. Крошечная головка была слегка приподнята тонкой рагулиной, шея вытянулась и казалась теперь длинною, черные бусинки глаз холодно стекленели. Задние ноги бурундука были слегка приподняты, и так заоченели, шерстку на спине залепил снег.

Не хотелось верить, что это был тот самый зверек, который еще вчера сидел на дровах за нашей печкою и поглядывал на нас кротко и дружелюбно.

Я спросил:

— А может, это другой?

Федор Степанович глухо откликнулся:

— Я тоже сначала засомневался, как так?.. А потом гляжу, хвостик у него, и верно, будто чуток надорван...

Из палатки вышли наши ребята, стояли теперь с нами рядом, молча смотрели на бурундука.

— Снег-то его, видно, и дсконал, — сокрушенно сказал Федор Степаныч. — Зима — вот она, а весь его запас — подчитую... Кроха, а разве не понимает?

Ваня Бусов негромко спросил:

— Думаешь... сам?

— А что ему оставалось?

Федор Степаныч протянул было к бурундучку руку, но Бусов остановил его:

— А ну, погоди, не снимай! Погоди, счетовод этот вернется, Семенов. У меня к нему разговор будет.

За завтраком все молчали, никто не смотрел друг на друга. Тишина давила.

Я вздрогнул, когда здоровяк Бусов ударил кулаком по столу и сказал зло:

— Ну, погоди!

Отшвырнул чашку, и, сгорбившись, пошел из палатки...

Семенов вернулся с базы только к полудню. Все еще были на делянке, в лагере

оставались только мы со Степанычем да повариха.

Мастер молча поманил Семенова, и тот пошел за ним к кусту, на котором все еще висел бурундук.

Федор Степаныч ткнул пальцем и только сказал:

— Вот.

Семенов смотрел долго, и на лице его медленно расплывалась кривая улыбка. Хмыкнув, проговорил:

— А я что?

— Ты бы собрал вещички, — строго сказал Федор Степаныч. — А то, неровен час, вернутся ребята...

Семенов вдруг побледнел, и оттопыренные его уши стали как будто еще больше.

Я повернул голову туда, куда он смот-

рел. Там спускались с пригорка наши рабочие.

Федор Степаныч предложил:

— Если хочешь, твои вещички я потом сам... Получишь в городе. Скажи начальнику, что я просил отправить тебя без очереди... ты понял?

Семенов молча повернулся и по невидимой под снегом тропе, на которой был один — только его — след, быстро пошел обратно.

Мы с мастером поглядели на пригорок, откуда спускались наши ребята. Они были уже близко.

Потом мы разом обернулись вослед Семенову. Он бежал вверх по тропе, коротко оглядывался, иногда оскользался, и теперь на ослепительно белом снегу рваной цепочкой тянулись за ним серые следы...



Олег Павловский

Сказка моего детства

«Блаженная желтая луна висела над оазисом; оазис был горячий, не свежел, со стороны Аму-Дарьи не было прохлады, и пустыня дышала горячо. Развалины мечети тихо осыпались; за базарной площадью, в большом арыке, лежала полная луна, арык чуть звенел, и казалось, луна звенит, ближе, сильнее, звон плавный, медленный... Через площадь шел караван, верблюды ступали неслышно, мягко, важно, под шеями их колыхались длинные, однозвучные ботала. Караван растаял за арыком, в прозрачной ночи, прозвучал вдали, невидимый, — и перестал звучать...»

Мать читает мне вслух, и воображение уносит меня за многие тысячи километров в непонятный, недостижимый мир, кажущийся волшебной сказкой, прекрасной и музыкальной, как эти слова.

Потом я дотошно расспрашиваю маму, что такое оазис, мечеть, арык, и она объясняет с трудом, потому что сама знает об этом только понаслышке. Я же пытаюсь представить жаркую, с желтой луной ночь, звенящую в арыках воду, но у меня ничего не получается: луна за нашими окнами сизая, дрожащая от мороза, и только сугробы снега чем-то отдаленно напоминают верблюжьи горбы.

— Читай еще, — прошу я.

Мама читает, и я засыпаю с надеждой, что, может быть, во сне увижу Белудж-хана, лицо и грудь которого обмотаны белой чалмой, ишака с оторванным собаками хвостом, медленно бредущую по пескам отару овец, осыпающиеся развалины древней мечети...

Потом была школа, фронт, переезды в

новые города, но Средняя Азия так и оставалась сказкой моего детства, далекой и несбыточной, как мечта.

И вот наконец...

— Наш самолет, — ангельским голоском произнесла бортпроводница, — приземлился в аэропорту столицы Туркмении городе Ашхабаде. Температура воздуха за бортом плюс пятнадцать градусов...

Плюс пятнадцать! В последний день марта, в час ночи по местному времени. А в Кемерове нас с Виктором Баяновым провожал колючий морозный ветер, и по аэродрому по полю со страшной силой мела поземка.

Сориентировавшись, мы, опережая других пассажиров, поспешили в аэропортовскую гостиницу — ведь по нашему, сибирскому времени, была глубокая ночь и у себя дома мы досматривали бы третий сон. Но спешка эта ни к чему не привела. Окошечко администратора было уже облеплено людьми. Улещивали, грозили, умоляли, околдовывали, но в ответ слышали одно:

— Нету местов, товарищи. Поймите же — местов нету. Все раскладушки заняты, по коридору пройти нельзя.

Мужчина в тубейке тянет через голову мятый билет.

— Я транзитный, мне положено... Вы обязаны...

Администратор берет билет, долго его крутит, затем резко сует его обратно в руки пассажиру:

— Что вы мне морочите голову? Какой вы транзитный? У вас даже слова Ашхабад нет в билете...

Оказывается, этот изрядно хвативший перед дальней дорогой товарищ каким-то непостижимым образом ухитрился пролететь одну остановку длиной в тысячу с гаком километров. Ему надо было сойти в Ташкенте.

Не надеясь на помощь администратора гостиницы, мы разыскали дежурного по аэровокзалу. Так и так, дескать, — сибиряки, творческая командировка... Дежурный глянул на часы и распорядился отдать нам резервную кровать в номере, где отдыхают экипажи самолетов. Это было наверняка последнее, одно на двоих место.

Люди не хотят больше ездить. Люди хотят летать. Видимо, на них магически действует точная и верная, как дважды два четыре, вездесущая и многоязычная реклама: «Экономьте время — летайте самолетами Аэрофлота».

Мы проснулись от слепящих лучей солнца, — не сообразили ночью задернуть шторы, — распахнули створчатые балконные двери. Слева серебристой подковой уходят вдаль заснеженные вершины Копет-Дага, справа и прямо, за зданием аэровокзала и летным полем, бескрайнее песчаное море Кара-Кумской пустыни. Вдали, у подножия горы, дымные трубы какого-то завода. Гуляющий по ущельям ветер относит дым в пески. Внизу, на площади, рядом со стоянкой такси, совершенно не обращая внимания на гул самолетов и проходящие мимо автобусы, понуро стоят два оседланных ишака. Чайханщик в белой куртке насыпает уголь в длинное и узкое железное корытце — готовится жарить шашлыки. Седобородый высокий старик в огромной лохматой шапке и полосатом ватном халате степенно идет к аэровокзалу. Он наверняка и думать забыл о том времени, когда из родного села в столицу приходилось снаряжать верблюдий караван...

Многие предпочитают ездить на юг осенью. Дескать, фрукты, овощи, виноград, дыни. Но сколько этого добра съест человек за две или три недели? Сушущую ерунду. К тому же самолеты доставляют сейчас свежие фрукты в любые уголки страны. Нет, на юг нужно ездить только весной. Наши глаза отдыхают, купаясь в бархатистой зелени. Снежно цветет урюк. Ослепительно белая островерхая шапка на тонком стволе. Словно далекие вершины Копет-Дага сбежали вниз, поближе к людям. И цветы. Удивительные, нежные, прелестные. Они везде — в палисадниках, на клумбах, в руках девушек.

Ашхабад — город небольшой. Тих, уютен, нетороплив. Вузы, университет, театры, заводы, музеи, фабрики, — все здесь есть, как и в любом современном столичном городе. В Центральном парке — памятник Ленину. Необычен этот памятник, и ашхабадцы очень гордятся творением своих зодчих. Большой пьедестал чем-то напоминает мавзолей, облицованный глазурованной плиткой с национальным орнаментом. Этот памятник Ленину — один из первых в стране. Он был сооружен в 1927 году и, что самое поразительное, — совершенно не пострадал при страшном землетрясении 1948 года.

В городе нет и трехсот тысяч жителей. Живут они в одно- и двухэтажных домах. Дома окрашены в мягкие желтые и кремовые тона, хорошо сочетаясь с зеленью деревьев. На этом желто-зеленом фоне —

яркие пятна одежд туркменских девушек и женщин — пестрые атласные шаровары, цветастые платья прямого покроя, узорчатые платки или тюбетейки. Смуглые лица открыты. Туркменки давным-давно забыли о парандже.

Для нас все их одежды кажутся одинаковыми и по цвету, и по покрою. Но вот туркменский поэт Сапар Ураев, показав взглядом на одну из прошедших мимо нас девушек, сказал:

— Эта девушка из Чарджоу.

— Ты ее знаешь?

— Нет. Но только в Чарджоу носят платья такого рисунка.

И я подумал тогда о наших, русских девушках, усиленно подражающих невесте какой-то моде и совсем позабывших, а вернее, и вовсе не знающих традиционных русских нарядов, по которым когда-то отличали рязанских девушек, скажем, от вологодских. Разумеется, вряд ли есть смысл возвращаться к сарафанам до пят и высоким кокошникам, но нашим модельерам все же есть над чем призадуматься.

Сапар Ураев, когда мы зашли в Союз писателей Туркмении, вызвался быть добровольным нашим гидом и в первую очередь повел нас на ковровую фабрику.

Фабрика поразила нас сгушенной тишиной, и только редкие приглушенные хлопоты изредка нарушали ее. А мы-то по наивности приготовились зажать уши, дабы уберечь нежные наши барабанные перепонки от оглушительно-монотонного гула станков. И все по той же наивности предполагали увидеть если не горы, то хотя бы штабеля ковров, приготовленных для отправки в торговую сеть. Но все оказалось не так.

В просторном и светлом цехе — десятка три самых примитивнейших станков: большие деревянные рамы, стоящие почти вертикально, с натянутаю основой из крепкой суровой нити. Около рамы сидит на корточках ткачиха-туркменка и тклет ковер. Это поразительно, как она тклет.

Ее пальцы напоминают спущенные по основе челноки. Они выхватывают из лежащей рядом кучки короткую шерстяную нить, протягивают через основу, завязывают специальным двойным узлом и тут же спешат за новой нитью. И при этом самое главное не перепутать цвета, иначе исказится неповторимый рисунок орнамента, который играет едва ли не самую важную роль. Ведь только по орнаменту можно отличить, скажем, текинский ковер

от салорского или иомудского, хотя и те, и другие относятся к туркменским коврам.

После того как связан один ряд — а в ковре их многие тысячи — ковровщица берет тяжелую стальную гребенку-набивник и с силой бьет ею по сотканной части сверху вниз, уплотняя ряды. А потом специальными ножницами выравнивает поверхность. Четыреста тысяч узлов надо завязать ткачихе, чтобы получить всего лишь один квадратный метр ковра. И на то, чтобы соткать ковер размером три на четыре метра, самой лучшей ковровщице требуется год с небольшим времени. Так что не приходится удивляться высоким ценам на туркменские ковры. Честное слово, они того стоят.

— Чем и славен наш ковер в мире, — сказал нам начальник художественно-экспериментального цеха Азиз Мамедович Багиров, работающий на фабрике уже сорок лет, — так своей прочностью и долговечностью. А этого пока можно достигнуть только при ручной работе.

Мастерство ковровщиц очеловечивает. В небольшом музее фабрики мы видели уникальнейшие, бесценные ковры, вплоть до ковра, в квадратном метре которого свыше миллиона ста тысяч узлов. И невольно подумалось: вот если бы мы, литераторы, так же плотно строили фразу, с таким же завидным упорством подыскивали необходимые, единственные слова, как подыскивают цвета для рисунка туркменские ковровщицы, — наши произведения сразу бы поднялись в цене. Искусство остается искусством, хотя здесь, на фабрике, его скромно называют обычной работой.

Поезд в Мары пришел ночью, за два-три часа до рассвета. И не знаю, что бы мы делали в тесном вокзальчике, если бы не удивительное радушие и беспокойность хозяев этой земли. Недаром Сапар в одном из своих стихотворений писал:

Нет, слогом ни спокойным,

ни возвышенным
Не рассказать, чем дышим, как живем.
Увиденное не сравнить с услышанным, —
И потому мы в гости всех зовем.
Всегда найдем к столу вино добротное,
Янтарный плов и винограда гроздь.
Гость у туркмен и старше, и почетнее
Отца в семье — какой бы ни был гость.

Оказывается, секретарь правления Союза писателей Таджикистана Ашир Назаров позвонил литературному консультанту

по Марыйскому району драматургу Ата Абдурахманову, и вот нас, неспешно идущих по перрону, останавливает высокий, широкоплечий, борцовского вида человек:

— Простите, вы не из Сибири?

— Точно. А разве похожи?

— Похожи. Мне вас Ашир по телефону обрисовал.

А дальше все, как в восточной сказке. Джин хлопает в ладоши, и к нам подкатывает новенькая «Волга». Джин произносит заклинание — и «Волга» мчит нас по нешироким улицам спящего города, выносит на пустынный простор, разрезая светом фар густую, тягучую мглу и через полчаса останавливается возле уютного виноградной лозой домика.

Джин кликнул клич — двери домика распахнулись, и мы, сняв в коридорчике обувь, оказываемся в устланной коврами комнате, где нас приветливо встречает секретарь парторганизации колхоза «Победа» Базар Патдыков. Тут же перед нами появляются пиалы, чайники с зеленым чаем, ваза с конфетами.

Выпиваем по пиале, считая, что на этом предзакатная «вечера» завершится. Да не тут-то было. Пока Патдыков рассказывал, как он родился в базарный день и в честь такого «великого» события родители нарекли его Базаром, веселый паренек поставил перед нами редиску, зелень, горячую шурпу, курицу, яйца... и еще кое-что.

В меру сил и способностей наших мы отдали должное каждому блюду, запили чайком, и только тогда нас отвели в смежную комнату, где стояли кровати, застеленные теплыми верблюжьими одеялами. «Волшебный» домик этот был просто-напросто колхозной гостиницей.

Мы соснули часа три-четыре, не больше, как с нами, сибиряками, пришли познакомиться председателем колхоза Акмурат Хуммедов и директор сельской школы (кстати, средней!) Ишан Амонов. А знакомство по туркменскому обычаю началось опять же с зеленого чая, подкрепленного всем остальным.

Сами туркмены в абсолютном своем большинстве не пьют и не курят. Мы не видели ни одного хотя бы подвыпившего туркмена. А ведь никаких ограничений по продаже спиртного здесь нет. Стоят на полках магазинов и буфетных стойках разные коньяки, водки, вина, кубинский и венгерский ром, и никого они, к вящему нашему удивлению, не смущают.

Чтобы не обижать гостеприимных хозя-

ев, мы выпиваем по рюмочке коньяка. И только. Сказали, что хоть и сибиряки, но... меру знаем... К тому же день предстоит жаркий и вообще — ни к чему. Но мы не знали, кому первому положено подниматься с ковра — гостям или хозяевам. Уже отекли от непривычного положения ноги, заболели бока и шея, а Акмурат Хуммедов, попивая свежесваренный чай, рассказывает, как ездил он в крымский санаторий подлечиться и как, несмотря на самые новейшие методы лечения и великолепное питание, стал чувствовать себя все хуже и хуже. Оказалось, ему не хватало одного — зеленого чая.

— Так что пейте зеленый чай, и вы будете здоровы и вечно бодры, как наши аксакалы, — закончил свой рассказ Акмурат.

А потом мы уселись в вездесущий «газик», и он, перепрыгнув через небольшой деревянный мостик, вынес нас на гравийную дорогу, ведущую к маячившим вдалеке постройкам. Здесь, почти в центре Кара-Кумов, строится Марыйская ГРЭС. По нашим сибирским представлениям стройка идет так же медленно, как верблюжий караван в пустыне. И ничего не поделаешь — не хватает рабочих рук. Приезжие строители не выдерживают палящего зноя и на летние месяцы покидают стройку.

Затем мы проехали мимо хлопковых полей, чисто забороненных, окруженных и пересеченных арыками. Поля небольшие, но ровные, как паркетный пол в танцевальном зале. Выходов нет, кое-где пылят еще посевные агрегаты, и потому поля кажутся мертвыми, безжизненными. И странно — более живой видится подступающая к ним пустыня. Даже не верится, что это и есть пустыня, хотя наши спутники старательно убеждают нас в этом.

Оказывается, и в пустыню приходит весна. И дает ей недолгую, но цветущую жизнь. И тогда, как сейчас вот, пески зеленеют высоким кустарником — черкезом, саксаулом, песчаной акацией. Катятся большие колючие шары, напоминающие наше перекати-поле. Ллюют, весело посвистывая, суслики и тушканчики, снуют под ногами серо-зеленые ящерицы, важно шествуют черепахи. Но через какой-нибудь месяц солнце выжарит зелень, выпарит влагу, и пустыня обретет свой нормальный вид — на сотни километров голые раскаленные пески. А пока неподалеку от нас мирно паслась верблюжья семейка, с удовольствием поедая колючий и сочный кустарник. Мы выразили желание подойти к ним поближе, погладить смешную морду

верблюжонка, но нам сказали, что верблюды не только плюются, но также лягаются и кусаются...

Нам не терпелось поглядеть на Каракумский канал, к которому мы и держали путь, но прежде «газик» остановился возле распределительного коллектора. Мощный насос перекачивал воду из ответвления канала в основной колхозный арык, от которого разбегались в стороны арыки поменьше и помельче. Еще два таких насоса бездействовали. Мы подумали, что они поломались. Ан, нет — машинист может запустить их в любую минуту, но... Сейчас, в весеннее половодье, хоть одному насосу разрешают гнать воду круглые сутки, позже и для него время будет строго ограничено. Колхозов много, канал — один. Составлены строгие графики. За правильным расходом воды следят специальные инспекторы, вроде нашего рыбнадзора. Поймают «браконьера» — не жди пощады.

Вода здесь все: хлеб, деньги, жизнь... И глядя на озабоченное лицо поливальщика, перекрывшего земляной плотинкой один арык, чтобы дать напиться другому, я вспомнил случай, когда женщина-экскурсовод водила по Третьяковской галерее группу передовиков среднеазиатских колхозов. Она остановила их у картины Левитана «Над вечным покоем», подробно рассказала о ее создании, о настроении, владевшем художником в период работы над этим шедевром, затем спросила:

- Нравится?
- Очень нравится.
- А чем?
- Воды много.

Тогда я про себя рассмеялся. Теперь мне неловко за тот смех.

Каракумский канал я представлял иным — закованным в бетон, со сложной системой шлюзов, с чистой прохладной водой. На самом деле он ничем не отличался от обычной, довольно-таки широкой реки с косо срезанными берегами. Течение быстрое. Вода настолько мутна, что опусти руку — и почувствуешь, как в ладонь ударяются песчинки. Выше по течению около Мары ходят по каналу небольшие буксиры и пароходики. Там, где мы остановились, под каналом проложен дюкер — бетонная труба метра два в диаметре. По дюкеру далеко в пустыню уходит соленая подпочвенная вода. И в этой-то воде на перепеде пасся здоровущий сазан. Его нам показал водитель газика, сами мы не догадались бы приглядеться к затененному хворостяным завальчиком месту.

Потом был живописный городок Байрам-Али, расположенный в Мургабском оазисе, Древний Мерв с руинами крепостных стен, замков, дворцов и мавзолеев, где как-то по-особому ощущаешь вечную связь времен, преемственность поколений, опустошительность войн и, как это ни покажется парадоксальным, — тягу людей к прогрессу; была станция Пески с точно подходящим к ней названием: пески справа и слева, настоящие барханы — высокие, волнистые, без каких-либо признаков жизни; окажись среди них в полном одиночестве, и небо станет с овчинку; и вот мы уже на другой, удивительной и сказочной земле...

Если бы наш автоинспектор очутился на улицах старой Бухары, он бы, растерявшись, тут же попал под машину или повозку. Ни светофоров, ни регулировщиков, ни тротуаров. Между грузовиками шныряют велосипедисты, угрюмо, ни на что не обращая внимания, тянут свои тележки с огромными колесами оседланные ишаки, таксисты проворно лавируют в узких до предела переулках, ухитряясь не сбивать с ног редких прохожих. И тут же проплывают комфортабельные корабли-«икарусы», в которых восседают удивленные очкастые туристы. Полное смешение эпох и наций.

Эту часть Бухары местные жители называют городом. Современные же кварталы с многоэтажными домами, троллейбусами, широкими улицами и проспектами, скверами и парками, для них — глухая окраина, скучная своим однообразием, однотонностью, строгими правилами уличного движения и запретом ездить по асфальтовой глади на ослах и верблюдах.

Нас тоже не прельщают новые микрорайоны, построенные по типу московских и иных «черемушек», и мы, кое-как освоившись с парижанин в древней части Бухары «антидвижением», все свое время проводим на ее улицах. Впрочем, понятие «улица» тоже довольно относительно. В основном, это — расстояние между двумя высокими стенами, равное подчас полтора метрам. «Двум ишакам разъехаться негде», — шутят здесь.

Невольно приходит на память английская поговорка: «Мой дом — моя крепость». Переносный смысл этой поговорки понятен. Но в Бухаре она приобретает иное, самое буквальное значение. Здесь действительно каждый дом — крепость.

Сплошные, иногда до пяти-шести метров высотой стены тянутся вдоль так называемой улицы. В стенах нет окон. Нет, правда, и бойниц. Только тяжелые и массивные двери, не очень широкие, в рост человека, говорят, что за этими стенами могут жить люди. И они, представьте, живут. Живут в двадцатом веке так же, как жили пять или десять веков назад. О современности говорят лишь проложенные вдоль стен трубы со знаменитым бухарским газом да электрические провода.

Как-то, поужинав, мы вышли из гостиницы прогуляться. Проспект Тараса Шевченко дышал свежестью и тишиной. Постепенно гасли огни в окнах многоэтажных домов. Умиротворенный город готовился ко сну. По арыкам вдоль тротуаров журчала вода, приглушая разговор влюбленных парочек, гуляющих по бульвару. Изредка прошуршивали по асфальту автомашины.

А справа, на юго-запад от нас, в каких-нибудь пятистах метрах лежала совсем другая Бухара, Бухара, где стены как бы сдвигают идущего человека, а дверные запоры из ковanej меди, сделанные искусными мастерами два или три века тому назад, словно предупреждают о внешней опасности.

— Пойдем?

Идем по Советской, проходим через Таки-Саррафан — так называемый «купол меняя», одно из монументальных торговых сооружений шестнадцатого века, каких не имеет ни один город в Средней Азии и странах Востока. Купола Таки-Саррафана похожи в ночи на гробницы и, хотя толще арок сводов не страшно никакое землетрясение, невольно кажется, что они вот-вот рухнут и погребут тебя под вековой пылью и камнем. Днем здесь было столпотворение людей, машин, велосипедов и мотороллеров. Сейчас — ни души. Не выдать даже сторожа. Может, притаился где-то, а может, его нет и вовсе.

За торговым куполом Таки-Тильпак-Форушан (купол продавцов головных уборов) — величественный архитектурный ансамбль, «бухарский форум», говорящий об изумительном национальном искусстве, о необыкновенном трудолюбии и старании узбекского народа. Минарет Калян с уснувшими на его вершине антами особенно поразителен на фоне черного звездного неба. Гулко отдаются и замирают чьи-то шаги. Протяжный вздох доносится словно из глубины Зиндана — тюрьмы, самого страшного памятника XVIII века.

Тюрьма, в общем-то, есть тюрьма. Добрых слов о ней не скажешь, светлых эпитетов не подыщешь. Но Зиндан — это нечто зловещее, сверхъестественное, как-то не укладывающееся в сознании место заключения. Есть в нем одна камера, или, точнее, яма-колодец глубиной пять метров. Узников бросали через отверстие с тяжелой железной решеткой. Тот, кто попадал сюда, больше не видел света. И глядя в яму, где искусно сделанные манекены усиливают впечатление от этого эмирского застенка, невольно вспоминаются газовые камеры, Освенцим, Бухенвальд... Разные века и одинаковая бесчеловечность. Варварство дикое и варварство цивилизованное, технически усовершенствованное...

Но я, кажется, отвлекся.

Ну так вот, и слышим мы вдруг в тишине этакий протяжный вздох, и аж мурашки по телу. Потом оказалось, что это зевнул громадный лохматый пес, охранявший вместе с сонным хозяином ворота городского рынка.

— Идем-ка подбру-поздорову в гостиницу.

— Идем, пожалуй...

«Здесь в 1890—1892 годах учился Сидридин Айни».

Медресе Мири-Араб выдающийся памятник архитектуры, воздвигнутый в 1535 году.

Напротив медресе Мири-Араб — так называемая соборная, или пятничная, мечеть Калян. Одна из древнейших и крупнейших в Средней Азии, она производит весьма внушительное впечатление. Галерея ее двора перекрыта 288 куполами, опирающимися на 208 столбов. (Мы, разумеется, не считали их — я привожу эти цифры из путеводителя). Мечеть вмещала около десяти тысяч молящихся. Невольно напрашивается сравнение со стадионом.

Между медресе и мечетью — минарет Калян, построенный почти девять веков назад. Это самое высокое сооружение в городе — 46,5 метра. Минарет служил и местом для призыва мусульман на молитву, и наблюдательным пунктом на случай появления врага, и маяком для торговых караванов, и Башней смерти: с вышки минарета сбрасывали осужденных. Нам кажется, что их кровь временами выступает на каменных плитах.

А вообще архитектурные памятники нужно видеть собственными глазами. Ну, как расскажешь о своеобразном орнамен-

те стен мавзолея Исмаила Самани, построенного тысячу лет назад? Мастера так расставили кирпичные плитки, что по мере восхода или захода солнца орнамент меняет свой оригинальный рисунок. Говорят, подобного способа декорировки не знает ни один памятник мировой архитектуры.

А купола мазара Чашма-Аюб, ни один из которых даже мало-мальски не повторяет другого, крепость Арк — самый древний архитектурно-археологический памятник города с двадцатиметровой высоты стенами, с камерами для государственных «преступников», в одной из которых томился когда-то Садриддин Айни. А портал и нишевидный вход мечети Магоки-Аттари, украшенные резьбой по алебастру, кладкой из шлифованных кирпичиков, поливной майоликой и резной терракотой! А строгость и выдержанность форм медресе Улугбека, на створке ворот которого вырезана надпись: «Стремление к знанию является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки!». Является обязанностью! Каково?! Ведь слова эти врезаны в дерево пятьсот пятьдесят лет тому назад.

Да, все это нужно видеть самому, чтобы почувствовать и соизмерить искусство эпох, создаваемое не только светлыми, но и черными красками.

Мы поднимаемся в шесть утра, хотя нормальным людям полагалось бы спать в воскресенье подольше. Но день этот — базарный, а быть в Бухаре и не потолкаться на Бухарском базаре было бы с нашей стороны большой промашкой.

Несмотря на столь ранний час, бухарцы выходили из домов, а точнее — из стен, и направлялись все в одну сторону. Нам не пришлось спрашивать дорогу — мы просто шли за ними, не сомневаясь, что идем по верному пути.

Ближе к базару — больше толпа, больше шума. Навстречу идут уже покупатели. Кто тянет упирающегося барана, кто — козу, кто погоняет осла.

Здесь, за городской стеной, на «толчке», где продавцов куда больше, чем покупателей, все кричит, говорит, мычит, блеет, перемежаясь со звонким перестуком кузнечных молотков. Мы насчитали более десятка кузниц, прилепившихся к невысокому забору. Здесь при тебе выкуют мотыжку, лопату, скобу, любую хозяйственную мелочь. Пожалуй, ни в одном городе

так не поощряются ремесла, как в Бухаре. Чем-то феодальным веет от мастерских-лавчонок, в которых шьют и тут же продают кепки, шапки, тюбетейки, обувь, халаты, сколачивают и расписывают ярчайшими красками маленькие и большие сундуки, детские люльки и коляски. И кажется, прикрой все это, и перестанет существовать та Бухара, которая начиналась как торговый центр Средней Азии.

Возможно, привычка и вытянула на эту поистине толкучую толкучку бухарцев, продающих все, что придется — новенькие, искусно сшитые и расшитые тюбетейки, поношенные застиранные халаты, изумительных расцветок ковры, непонятно на что пригодное тряпье, мотоциклы, велосипеды и всяческий металлолом. Говорят, здесь можно купить и швейную иглу, и верблюда. И это, пожалуй, верно. Правда, верблюдов почему-то не было — может, не сезон? — но ишаков, тощих коров, телочек и овец — на любой вкус и выбор.

— Слушай, а не купить ли нам ишака, да махнуть на нем в Кемерово — вот уж произведем фурор! Животина выгодная — любую колючку съест и двух человек за просто на себе потащит.

Приценимся.

— Восемьдесят.

Совсем дешева. Если восемьдесят просит — наверняка за шестьдесят отдаст.

Нас перебивает настоящий покупатель. Мы не понимаем языка, но наблюдаем за торгующимися с истинным удовольствием.

Продавец хваливает животину, хлопая ее по обтянутому серой кожей ребрам, задирает зачем-то хвост, показывает крупные ослиные зубы. Покупатель оспаривает его мнение. Спор доходит до крика. Бедный, не понимающий происходящего осел стоит с опущенной головой, прикрыв веки и вздрагивая всем телом, когда хозяин с особой старательностью опускает тяжелую ладонь на его ничем не примечательный зад.

Наконец, покупатель лезет под халат, достает из-под широкого кушака завернутые в тряпку деньги. Но это не все. Настоящая купля-продажа только начинается. Хозяина осла смущает вид отсчитываемых денег, но совершенно не устраивает предлагаемая сумма. Он снова пытается показать достопримечательности своего живого товара, но покупатель при этом машет рукой, словно осел уже несколько его не интересует, и вот-вот упрячет деньги обратно под кушак. Продавец тянет его за халат, просит надбавки, сдобривая

нескончаемую речь знакомыми русскими словами. Покупатель соглашается прибавить, но значительно меньше требуемого. И такая вот перепалка длится минут пятнадцать. Вконец измученные, охрипшие, они все-таки сходятся в цене. Мы подглядываем — во что же обошелся покупатель осел. Оказывается, почти не ошиблись в предположении — шестьдесят три рубля. Старый хозяин доволен — выгодно продал. Новый хозяин посмеивается — выгодно купил.

Впрочем, я заметил — здесь продают не столько ради какой-то выгоды, сколько ради самого процесса купли-продажи. Одна женщина торговала серьгами и тибетейками, купленными ею же в галантерейном магазине. Она не спекулянтка, отнюдь. Она даже не сорвала фабричных ярлычков и запрашивала ровно столько, сколько стоят эти вещи в магазине. И ручаюсь — поторгуйся умело, она отдаст их дешевле настоящей цены, понесет при этом явный убыток, но останется довольной — как-никак, а поторговала.

На следующий день мы покидаем Бухару. Билеты на самолет уже в кармане. Нас будут провожать чудесные воспоминания о городе, где реальность кажется сказкой, а сказка реальностью.

Кстати, в юго-восточной части Бухары бурными, как принято говорить, темпами развивается жилищное строительство. Сюда, в благоустроенные квартиры, переедут

жители древней Бухары, покинув, вероятно, без сожаления свои отгороженные от мира комнаты и комнатухи. И тогда без опаски нарушить чей-либо покой можно будет зайти в любой двор, подняться на галерею, поудивляться условиям, в которых жили когда-то люди. Но той по-восточному сказочной Бухары с ее необычным, противоречивым укладом жизни уже не будет. Будет мертвый город-музей с архитектурными памятниками народного зодчества всех исторических эпох, начиная с IX века. А потом какая-нибудь «голова» додумается снести в порядке борьбы с антисанитарией все эти глинобитные стены, уничтожить тупики и узкие переулки, и Бухара, которую видели мы и хотели бы, чтоб увидели ее такой и потомки, перестанет существовать...

Сведенный лес, — пусть через десятилетия, — но можно восстановить. Перемешанную с землей ковшем экскаватора и отглаженную лезвием бульдозера историю восстановить будет невозможно, как невозможно уже восстановить тысячи уникальных архитектурных памятников, уничтоженных на Руси в бурные двадцатые годы нынешнего столетия.

Вот я и побывал в сказке моего детства. Она оказалась чуточку не такой, — время делает свое дело, — но все равно доброй, прекрасной, удивительной и чудесной страной, населенной гостеприимными, отзывчивыми и по-своему интересными людьми.

МАРЬЕВСКАЯ МУЗА В РАБОЧЕЙ СПЕЦОВКЕ

Василия Федорова у нас больше всего знают и воспринимают как питомца «Марьевской музы», поэта, вышедшего из сибирской деревни Марьевки и воспевающего красоту родной земли, которая распростерлась в лебединых разливах рек, в птичьих посвистах, в голубых снегах и звоне метелей, когда «имя гордое Россия звенит, как знамя на ветру». Казалось бы, отчетливых точек соприкосновения с рабочей темой тут нет и быть не может.

Но, во-первых, это далеко не весь Федоров. А, во-вторых, даже пейзажная и бытовая лирика у него не абстрактна, не созерцательна при всей щедрой живописной красоте своей. И в ней поэт по-настоящему современен, социален, ибо сочная пейзажная бытовая колоритность, умение живописно и зримо передать натуральную, вечную красоту мира, как правило, неотделимы от глубоких раздумий о путях и судьбах времени, страны, народа. А мыслимы ли эти пути и судьбы вне такой решающей социальной силы, как рабочий класс?

Откроем наугад любую из книг поэта, ну, хотя бы вот эту, с таким прозаическим, узко бытовым названием «Третьи пелухи» (изд. «Молодая гвардия», 1966).

В первом же стихотворении «Совесть» муза поэта предстает в образе его родной матери, крестьянки-труженицы, которая идет ему навстречу, «пыль метя подолом», идет «в мужском пиджаке, что когда-то старшой посылал ей из Томска» (это ли не живой штрих и сыновней любви рабочего, и кровного союза трудовых людей города и деревни в ту, теперь уже далекую, трудную пору?). Именно она, суровая эта крестьянка-работница (работяга, как говорят про таких в народе) сизмальства внушила и честь и совесть поэту, по-

сеяла добрые семена трудовой морали в его душе.

И вот, несколькими стихотворениями ниже, он сам, наш поэт — «веселый, с грустными раздумьями о трудовом хлебе, о железе». Он знает истинную цену добротной ковке металла, уподобляя ей и само делание стихов:

Поэзия — не строчка ловкая,
Что музой томною
Подарена,
Поэзия — железо ковка,
Когда с него
Слетит окалина.

Совсем в духе псэтов Пролеткульта или «Кузницы», скажет иной критик. Да нет же, в духе самого Василия Федорова, на прочно прикованного к добротной этой работе, влюбленного в ковку, в труд, в жизнь.

Он живет, заботясь более всего лишь о том — «не разучилась бы рука держать... серп и молот», и ему превыше всего — дружба, а точнее сказать, кровное родство с рабочим человеком:

Высокой дружбой
Похваюсь.
Мои друзья —
Поэты, зодчие,
Но все сильнее
К вам тянусь,
Мои товарищи,
Рабочие.

Но не забудем, что марьевская муза поэта выростала на лоне живописной, щедрой природы. Быть может, поэтому в ряде стихов В. Федорова наблюдается тенденция к «рабочиванию» природы и

природное с индустриальным в самой об-
разной структуре сплавляются в чудес-
ный поэтический сплав. И тогда в хоботе
слона — «сила подъемного крана и неж-
ность мастера-ювелира», а река предстает в
очеловеченном образе мудрого каменотеса,
и получает материализованное поэтиче-
ское воплощение известная формула Эн-
гельса о том, что труд создал человека:

В ущелье гор,
Пробив утес,
Текла река-
Каменотес.
И думал
Думу я одну,
Что вот река,
Она от века
Тесала
Мертвую скалу,
А вытесала
Человека.

Стихи В. Федорова о труде, о стройке
дышат тем вдохновенным пафосом всеоб-
щего созидания, при котором и сам поэт
как бы находится в общей «буче, боевой,
кипучей», а его собственный труд вливает-
ся в труд его республики:

Мне, рабочему,
Все по силе,
Мне, строителю,
Все с руки:
На домах
Стропила
Стропилить,
Окосячивать
Косяки...
Знаю тайну
Весенних почек,
Знаю сладость
Медовых сот.
Понимаю
Работу строчек,
Как товарищ мой
Гесиод.

И опять тут индустрия счастливо спле-
лась с природой, стропила с весенними
почками, а природа, весна — с поэзией, с
работой строчек, которые органично вы-
ступают в общем ритме, в едином ансам-
бле социалистического созидания, да так,
что нашим современником оказывается ав-
тор «Трудов и дней» античный поэт Ге-
сиод. Таковы лишь некоторые из аспектов
решения Федоровым трудовой, рабочей
темы в лирике малых форм.

Теперь посмотрим, как решается эта те-
ма в его поэмах.

В трех поэмах В. Федорова — «Золотая
жила», «Проданная Венера» и «Седьмое
небо» — перед нами как бы раскрывается
нравственная история работающего, трудо-
любивого русского человека за многие де-
сятилетия — от дооктябрьской поры до се-
годняшнего времени.

В седые века уходит своими корнями
слава былинных русских богатырей, в са-
мом гиперболизме образов которых с реа-
листической полнотой отразилась недю-
жинная физическая сила и мощь, мужест-
венная, свободолюбивая, непскорная вся-
кому злу, нравственно чистая, тонкая и
поэтическая душа нашего народа.

Прямой наследник этих русских богаты-
рей — дед поэта, марьевский кузнец Хари-
тон, герой поэмы «Золотая жила». Поис-
тине былинная сила дана была этому кре-
пышу, от удара которого «аж леса окрест-
ные аукнут, озеро качнется в берегах». И
сила эта находила себе выход прежде
всего в любимом, самозабвенном труде у
наковальни, наложившем печать и на фи-
зический облик богатыря-кузнеца:

Молодой,
Лицом и телом ладный,
Лошадь зашибавший кулаком,
То, что величаем мы кувалдой,
Называл он просто молотком.
У него в руках железо пело,
У него от жаркого труда
На лице румяном наikipела
Черная с рыжиной борода.

Казалось, ничем богатырскому молоту
Харитона даже стальные оковы неспра-
ведливых царских законов:

С вызовом
Выбрасывая звоны,
Молотом играет Харитон.
«Будь покорен», — говорят законы.
Только Харитону что закон!

Но «Золотая жила» — поэма не о труде,
а о любви, о большой, трагической и гор-
дой, глубокой и чистой любви силача-куз-
неца и тонкобровый солдатки, любви, пе-
ред которою может померкнуть даже са-
ма история Ромео и Джульетты.

Только любовная тема здесь органиче-
ски слита с темой трудовой и не сущест-
вует отдельно от нее.

Все высокое и чистое, что пело в душе
Харитона, насквозь переполненное Гла-

шею, пело у него и на звонкой наковальне, и в самом труде безраздельно влюбленного человека рождались душевный жар, искрометная поэзия нежности, благородства, чистоты, красоты:

Все, чем жил,
Вдруг стало жизнью дальней.
Он для Глаши душу отворил
И ковал на звонкой наковальне,
Будто с ней все время говорил.
Как умеет петь металл горячий!
Чем краснее он и горячеей,
Тем певучей,
Искренней и мягче
Благородный тон его речей.
Обожжется молот и заплещет
Пьяным дружкой в свадебном чаду,
И звенит он:
«Глаша! Глаша! Глаша!»...
И зовет он:
«Жду!.. Жду!.. Жду!..»

Несчастливо спелась эта огромная любовь-песня.

Силач-кузнец хотел доискаться социальной правоты. Однажды он в отчаянии с одного удара наковальню расколот и, наивный и чистый, как ребенок, попытался отыскать золотиносную жилу в тайге, чтоб уговорить падкого на золото царя изменить несправедливые законы. Тщетно, не смог он найти «где-то за горами и лесами скрытой богом жилы золотой». Так и не дошел он до своего счастья — Глаши, и Глаша к Харитону не дошла.

Но осталась людям «золотая жила» характера труженика-богатря, характера неодолимого в свободолюбии своем, гордого, непокорного жизнелюба и правдолюбца. И правда его победила в октябре 1917 года, хотя и пришлось сложить буйную голову за нее.

Гордый дед мой,
Натрудив ладони,
Самородных жил не отворил,
Но с царем о Глаше,
О законе
Все же Харитон поговорил.
Верю:
Вспоминая о Глафире,
Шел он в бой...
И где-то у Читы
В павшем партизанском командире
Признавали дедовы черты.

В «Золотой жиле», рассказывающей о мучительных поисках своего человеческо-

го счастья двумя страдающими душами в дооктябрьские годы, трудовая тема переключилась по большей части в нравственно-этический план. В «Проданной Венере», рисующей победивший трудовой народ в непосредственном строительстве новой жизни, она, не утрачивая своего нравственно-поэтического содержания (это всегдашняя черта поэзии В. Федорова), с наибольшей силой решается в философско-эстетическом ключе. Оба эти ключа — этический и эстетический — сомкнутся в последней и самой большой из поэм В. Федорова — в «Седьмом небе».

Основной сюжетный узел «Проданной Венеры» очень локален и незамысловат. Рассказывается о том, как за деньги, столь необходимые бедной, разоренной молодой республике, в трудностях создающей свою социалистическую индустрию, пришлось продать за океан бесценный шедевр искусства — «Венеру» Тициана.

За красоту
Людей живущих,
За красоту времен грядущих
Мы заплатили красотой.

К этой обобщающей итоговой мысли поэт ведет читателя трудным и благодарным путем, давая ему возможность в реальных судьбах людей, в их поступках и чувствах глубоко постигнуть истоки и суть новой трудовой, рабочей морали, новой революционной, социалистической эстетики.

Все проблемы в поэме толкуются с единственно верных, исторически оправданных в нашем обществе позиций — с позиций Его Величества рабочего класса, поднявшего на своих плечах, возродившего и приведшего к социалистическому расцвету добытую в боях огромную страну...

Позиция эта отчетливо выявляется и у основного лирического героя, от лица которого ведется все повествование, деревенского паренка с неразвитыми вначале эстетическими чувствами, которому поручено было «на комсомольском комитете о красоте прочесть доклад». Выявляется она и в горькой, но человечески высокой и прекрасной судьбе юной Наташи Граевой, обаятельной девушки с реальными чертами тициановской Венеры, увядшей, однако, «не успев расцвести», под непосильной тяжестью трудовой ноши, которую взвалила на ее хрупкие плечи жестокая война, девушки, свершившей бескорыстный и бессмертный подвиг во имя

всеобщей красоты людской, своею собственной красотой заплатившей «за красоту времен грядущих».

И, конечно же, позиция эта наглядно, зримо выступает у строителей и рабочих крупного металлургического завода в Магнитогорске, построенного на деньги, которые были выручены от продажи картины Тициана, и даже у старика-хранителя музея, которому так больно было расставаться с проданной Венерой.

Теперь мне вспомнилось,
Как ночью,
В огнях увидев домен ряд,
Похвастал кто-то:
— Между прочим,
Я строил этот комбинат.
Добавил, ус крутивши лихо,
Что ставил там прокатный стан,
А старец, вот такой же, тихо
Заметил:
— Вы и Тициан.

Современной счастливой молодежи нашей, знающей ту, теперь уже отдаленную действительность лишь по книгам да фильмам, стоит поглубже постигнуть эту суровую и чистую пролетарскую, социалистическую этику, эстетику и мораль, чтоб лучше и активнее строить нынешний и завтрашний светлый мир. Поэма В. Федорова немало делает для ее постижения:

— Все позабудется на свете,
Все сгладится в конце концов.
Вам, избалованные дети,
Не вспомнить бедности отцов.
Вам подавай лишь то, что мило,
Красавицу и сад в цвету.
Кровь пролилась,
А не чернила
В сражениях за красоту.
Вам огорчительно до боли,
Вам оскорбительно до слез,
Что материнские мозоли
Не пахнут лепестками роз.
Наташи прежней мы не встретим,
Но людям жить и быть в красе.
На этот раз уже не детям,
На этот раз сказал он всем:
— Рост красоты по дням и годам
Мы обеспечим — верю я,
Как обеспечен курс рубля
Всем достоянием народным!

Последние слова лирического героя так созвучны тому, что говорилось и намечалось недавно на XXIV съезде КПСС — в

них отчетливо выражена сегодняшняя позиция советского рабочего класса и его партии.

Лучшую и самую большую из своих поэм «Седьмое небо» сам автор в отдельном издании назвал романической. Это и впрямь что-то вроде романа в стихах вследствие широты охвата действительности, углубленного изображения характеров.

Учебу, труд и быт своих героев, их нравственные искания поэт изображает на очень большом отрезке времени — от годов строительной индустриализации страны до нынешней эпохи покорения космоса.

В труде, в общем деле прежде всего и больше всего выявляются человек, его личность, его нравственный мир, его любовь. Бесспорную истину эту В. Федоров не только великолепно сознает, но и делает поэтическим стержнем повествования о любви, о личной судьбе героев, превращая проблему труда в одну из главных в своей поэме.

Поэт показывает, как завод, да еще авиационный, оборонный, поглощает человека целиком, отодвигая в сторону все мелкое, узкое, личное.

Здесь оборонный,
Здесь нешуточный,
Здесь, будто мир уже горит,
Неуловимый график суточный
Над всеми смертными царит.
Здесь будто мир
Уже врывается,
Тебя заботит вся Земля.
Здесь в сторону отодвигается
Невзгода личная твоя.

И если никому, ни за что нельзя отдать любимую, то уж, тем паче, надо как зеницу ока, беречь и никому не отдать родной завод:

О, мой завод,
Ни вражьим летчикам
С планшетами для наших карт,
Ни мрачным атомным наводчикам
Не дам его координат.

В могучий, ошеломляющий индустриальной мощью своей «мирозаводской», органично вписываются судьбы людские, судьбы любящих, их жизнь, их быт:

А в цехе
Повстречали умные,

Ошеломившие мой слух,
 Слоны огромные, чугунные,
 Вздыхающие:
 Ух да ух!
 И сотрясали стены топотом,
 Пытаясь с ног стряхнуть бетон,
 И гнули сталь упругим хоботом
 С усилием
 В пять тысяч тонн.
 А быт?
 Подобно-многим жителям,
 Мы жили в мире заводском,
 Как до сих пор —
 По общежитиям:
 Марьяна в женском,
 Мы в мужском.

(Заметим, кстати, в скобках: опять, как и в лирике, индустриальное органично сплелось — и не раз еще сплетется в поэме — с живым, природным, и даже образ тот же: краны-слоны).

И если уж любовь рождает поэзию, чудесную соловьиную песнь, то песнь эта непременно заполняет трудовой день, окрыляет на работе, слышится в звенящем пении металла:

Упоенно дыша,
 Голубыми утрами
 Просыпалась душа,
 Вся полна соловьями.
 Опускалась с высот
 Синевы поднебесной
 И несла на завод
 Соловьиные песни...

Нет, по отношению к В. Федорову не дежурная это фраза: труд воспитывает человека, закаляет характер, испытывает душу. Она проведена им сквозь поэтическое сердце, она — сердцевина его поэмы:

А цех
 Не древнее предание,
 Дверь проходной
 Не темный грот.
 Земным,
 Но трудным испытанием,
 Меня испытывал завод.
 Огнями,
 Громом,
 Грозной силищей,
 Усладой,
 Мукою труда
 Он был и Адом,
 И Чистилищем,
 И даже Раем иногда.

Да и сама любовь не может не родиться в деле, захватившем все существо человека, в деле нужном, необходимом всем. В нем она проходит испытание на прочность, и огненную сваркою очищаются, проверяются души любящих:

Здесь мир тревог
 Из-за тревожности,
 Который людям не избыть,
 Здесь безграничные возможности
 И нелюбившим полюбить.
 В горячий час,
 В минуту жаркую,
 Когда с души слетает ржа,
 Как будто огненную сваркою
 Приварится к душе душа.
 И чудо явится мгновенное,
 Зажжет глаза, сгоняя стынь,
 Пронзительная,
 Автогенная,
 Тебя сжигающая синь.

Ну, а если станет трудно, и надломится любовь (хотя «любовь не может быть несчастною, какой бы трудной ни была»), на помощь придет, ободрит, вовремя поддержит рука старшего друга, «рабочая», как и у самого героя, «железом пахнущая» рука старика Силыча.

И нет ничего дороже душевной сопричастности к таким вот Силычам, ко всему величавому и гордому классу рабочих, классу-революционеру, классу-созидателю, борцу и творцу, классу, давшему миру Ленина. Нет ничего чище и выше этого прочного «родства по крови и железу». С ним вновь обретишь утраченную вдруг веру, постигнешь весь глубочайший, неохватный смысл человеческого и социального понятия «любовь».

Разговор героя с Силычем предстает как высшая кульминационная точка всей поэмы:

Верь и верь,
 Как веришь ты в металл.
 Нынче наша вера
 В нашем деле,—
 Помолчал.—
 Я Ленина видал...
 И хранить его
 Не перестал.
 В глубине души,
 Как в Мавзолеи...
 С верою,
 Что не поддамся злу,
 Что в тоске

Перед бедой не струшу,
 Снова по деталике, по узлу
 Для борьбы
 Собрал он
 Мою душу.
 Поклоняюсь
 Скромным именам,
 В знатные
 И модные не лезу.
 Силычи! Я благодарен вам
 За родство
 По крови и железу.

Так вот она — главная тема и позиция Василия Федорова, его исток истоков, проблема всех проблем.

Деревенская муза поэта, его лирический герой духовно сопряжены с самой могучей частью рабочего класса, с испытанной гвардией его — с властелинами железа, покорителями металла.

Отсюда, по-видимому, неспроста особое пристрастие В. Федорова-художника к эпитетам, сравнениям и метафорам с металлическим, железным основанием. «Железная рука» кузнеца Харитона, который на «лиственнице крепкой, как железо» испытал свой топор («Золотая жила»), «бруски холодного металла и «сталь», которую «кидало в белый холод» («Лирическая трилогия»), «грузные мартены, похожие на корабли» («Проданная Венера»), рука рабочего, что «пахла железом», душа, разбираемая «подетально, по узлу», и «родство по крови и железу» («Седьмое небо») и т. п. и т. д. — вот лишь некоторые примеры такой стилистической образности. У В. Федорова-литератора даже «железное перо» и сама поэзия — «железа ковка».

Подобные эпитеты и метафоры, которыми очень любили, зачастую бесплодно, щеголять поэты Пролеткульта и «Кузницы», у В. Федорова всегда точны и определены, рисуют живописно конкретный, предметно осязаемый образ. Но в них есть и вторая важнейшая сторона — глубокий эмоционально-лирический подтекст, ведь речь идет о людях и предметах сильных, мужественных, прямых, о несгибаемом, классово-определенном, идейно-сильном и цельном характере трудового рабочего человека — лирического героя поэта.

Нет, это не натяжка, не искусственная подгонка под многозначный смысл слова, как может показаться иным критикам. Берем в свидетели лирического героя и самого поэта. В «Лирической трилогии» он хочет сказать «нет» войне от имени «всего мира» и всей России.

Да так,
 Чтобы ответ был крут,
 Упруг и прочен, как пружина.
 Я лично верю только в труд,
 В труд и металл.
 Нужна машина.

Так партийная, рабочая классовая позиция поэта реализуется в самой образной ткани его поэзии, в упругой прочной ритмике стиха.

Но ведь герой «Седьмого неба», обладающий такой позицией и таким характером, казалось бы, не достиг личного счастья, несчастной осталась его любовь к Марьяне.

Однако и в «Седьмом небе» он оказался в конечном итоге счастлив, если мерить не узкой, частной, а большой трудовой, рабочей, народной меркой.

Горин упорно, круто, не сворачивая, шел к счастью и сделал все, чтобы взлетел в «Седьмое небо» Гагарин, чтобы вообще на земле, «вокруг людей крылатых стало больше». Горин нашел это терпкое и сладостное счастье любви:

Марьяна, милая, прости!
 Теперь в конце
 Вся жизнь видна.
 Однажды сказано правдиво:
 Любви несчастной нет, она,
 Какой бы ни была, —
 Счастлива.

И двадцатилетие горинской жизни, оттого что он вместе с народом поднимал ввысь всю страну, было столь же трудным, сколь и счастливым. Да, Горин имеет все основания вот так доверительно и задушевно обратиться к Гагарину:

Чем круче хлеб,
 Тем жизнь упорней.
 Я рад, что мы с тобой вззошли
 От одного большого корня
 Крестьянской матери-земли...
 ...Чтоб волю дать твоим дерзанням,
 Когда ты рос, как все, шалья,
 Меня подвергла испытаньям
 В те дни тревожная Земля.
 Чтоб дерзкий
 Ты взлетел с рассветом
 И возвратился в добрый час,
 Мы все стерпели, но об этом
 Я поведу другой рассказ.

Итак, три поэмы, и все — о любви. И во всех трех главенствует трудовая, рабочая тема. Главенствует не внешне, не в сю-

жетных каркасах, хотя и в сюжетах поэм есть точные, меткие описания кузницы, завода, работы, труда. Главенствует изнутри, как нравственный стержень, определяющий идейную суть, жизненные позиции, мироощущение, поступки, мысли и чувства героев. И всюду явственно выступает народный, рабоче-крестьянский родовой корень марьевской музыки поэта.

Мы не ставили целью досконально ис-

следовать все аспекты рабочей темы во всех произведениях В. Федорова, сознательно ограничив себя лишь некоторыми, на наш взгляд, наиболее важными из них.

Но и анализ этих произведений позволяет с уверенностью заключить, что В. Федоров — крупный поэт рабочего класса и трудового крестьянства, этих основных движущих сил нашего социалистического общества.



Ю. Соломонов

ОЖ, УЖ ЭТОТ КОЛГОТКИН!

- Семен Семенович, вызывали?
- Да, вызывал. Что, Колготкин, опять за старое?
- Опять, Семен Семенович...
- Ну как же так?
- Сам не знаю. Случайно вышло.
- В этой четверти ты у меня третий раз и все случайно?
- Срываюсь я... волнуюсь.
- Контрольная работа?
- Она самая.
- Теорему Пифагора не мог выучить?
- Учил, но... с законом Архимеда ма-лость спутал.
- Так. Ну, а подобие треугольников?
- ...
- Тогда хотя бы задачу?
- Не успел: звонок.

- Так-так. Значит, опять двойка?
- Опять, Семен Семенович.
- Стыд и позор, Колготкин! Учителя с тобой маются, родители. Их бы пожалел! Они у тебя уважаемые люди. Отец на Доске почета висит. И в кого ты только такой уродился?
- Не знаю...
- Ну ладно, что дальше думаешь де-лать?
- Я исправлю, Семен Семенович, чест-ное слово, исправлю!
- Хорошо, иди, Колготкин, в класс. В последний раз предупреждаю: еще раз поставишь Сидорову двойку по математи-ке — пиши заявление. Шутка ли! В школе третий год стопроцентная успеваемость, а ты придумал — двойки ставить!

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО СТАТЬ БОЛЕЛЬЩИКОМ

Чтобы не отставать от эпохи, не прослыть профаном, невежей и ничтожеством, немедленно становитесь болельщиком. Футбольным.

Вам могут простить невежество в живописи, музыке, кино, литературе, но невежества в футболе — никогда. В глазах каждого настоящего болельщика вы, кроме пренебрежения (ну, в лучшем случае, сочувствия к себе), больше ничего не вызовете. Потому что сейчас каждый, кто хоть немного уважает себя, не может не стать болельщиком. Не стать — значит сознательно обречь на самоуничтожение свою личность, бросить на себя тень, стать посмешищем. Попробуйте заявить знакомому, что вы не болельщик.

— Как, вы не любите футбола? — удивится он и посмотрит на вас такими глазами, будто перед ним не вы, а чудак, который тысячу лет назад покинул землю и на днях вернулся. — Да что вы? Вы, безусловно, шутите.

Попытайтесь возразить. Попытайтесь — и увидите, что после этого произойдет.

Вы можете сказать, что совсем не разбираетесь в архитектуре. Не знаете, как отличить древневизантийский стиль от мавританского или ренессанс от готики, или же ранний классицизм от модерна. Вы можете сказать, что не любите джаз или симфоническую музыку, драму или оперетту...

Но не любить футбола?..

Не быть болельщиком в наше время,

когда мир разделился на два мирных лагеря — футболистов и болельщиков?

Кому-то из читателей покажется: автор преувеличивает, сгущает краски. Так вот, я хочу доказать, что это не так.

Как-то у меня на квартире собрались товарищи. Среди них был и молодой талантливый актер. Его амплуа, как любят говорить артисты, — исторические роли: Богдан Хмельницкий, Иван Богун, Максим Кривонос. Разумеется, я полагал, что вечер пройдет в интересных разговорах о театре, в рассказах о том, как молодой актер готовится к той или иной роли, что ему удастся легче, что труднее. А на поверку — сидят мои гости, глотают тягучие паузы, ерзают, не знают, о чем и говорить. И вдруг кто-то будто бы невзначай бросает... Нет, не о том, как играл когда-то Амросий Бучма или Иван Паторжинский исполнял Карася. Не о Соломине Крушельницкой или Оксане Петрусенко. Нет. Кто-то бросает такую фразу:

— И как только вчера играли наши!..

И сразу, как пишут газеты, оживление в зале. Стулья начали сдвигаться, все собрались вместе.

— Какой мяч провел Мунтян? Ну и Муня! Ну и Володя!

— А Пузач? Вы заметили, как стал играть Пузач? Виртуоз! Эйсебио! Жаль, Бышовец травмирован. Это для нас самое большое несчастье: Бышовца не заменить никем.

— А Хмельницкий!

— Что Хмельницкий?

— Как играет Хмельницкий! Ну настоящий тебе рысак. Земли под собой не чувствует. Ну и Хмельницкий!..

— Мда! Хмельницкий — это голова, — присоединяетесь к разговору и вы, возвращаясь с перекура. — Я вам скажу, если бы он тогда в Варшаве...

Вас в этот же миг пронизывают острым взглядом несколько пар удивленных глаз.

— Вы хотите сказать — не в Варшаве, а в Хожуве? Тогда, когда они встретились с «Гурником»?

— Да нет, — возражаете вы. — Я хочу сказать, если бы он в Варшаве, встретившись с королем Владиславом IV...

— Погодите. Одну минутку. Что вы там, на кухне, делали? — спрашивают вас. — Чем-то девушек угощали или... Какой король? Какой Владислав? Что вы мелете? Вы знаете, о ком мы говорим?

— Ну, слышал, — меняетесь вы неожиданно на лице. — О Хмельницком.

— Да. Но о каком? Мы имеем в виду Виталия, а не Богдана...

Попытайтесь после этих слов еще и спросить, кто такой Виталий Хмельницкий. Вы догадываетесь, что будет твориться в комнате? Как будут на вас смотреть? Вы можете не знать Богдана, но не знать Виталия...

Я не знаю, с чем все это можно сравнить. Виталия не знать нельзя. Можно не знать, кто написал «Разве ревут волы, когда ясли полны?», «Тени забытых предков», «Неофитов», «Энеиду». Но не знать, сколько мячей забил в прошлом сезоне головой и просто так Виталий Хмельницкий — значит, не знать ничего.

— Может, ты даже не знаешь, где Центральный стадион? — спрашивают вас.

Не признавайтесь. Утверждайте, что знаете и что были вы там не раз, а то, что вы говорили до этого, — неумная шутка. Утверждайте. Все утверждайте и ничего не отрицайте, потому что иначе разнесут.

Вы можете не знать, где в Киеве Выдубецкий монастырь, Андреевская церковь, Золотые Ворота, София, даже Печорская Лавра. Но не знать, где в Киеве Центральный стадион?..

Я молчу. Я тут просто бессилен вам что-либо посоветовать. Единственное, что вам скажу: не ведите себя так в обществе, а тем более на стадионе. Потому что после этого же совета, я уверен, вы немедленно помчитесь на стадион. Помчитесь, а как вести себя на том стадионе, уверен, не знаете. Если в обществе за такие вещи с вас не снимут кепи и не выбросят в окно, то на стадионе только за одно такое слово с вас вместе с кепи полетит и чуб. В гостях вас бить не будут. А на стадионе... А если вы еще и с женой? С чьей — там не спрашивают. Там интересуются другим:

— Для чего ты сюда пришел? Болеть или фигли-мигли крутить?!

— Ты знаешь, что за воротами стадиона не у одного настоящего болельщика сердце от тоски разрывается, а ты, морда, тут его место занял...

— Кто им продает билеты? — удивляется сосед справа. — Вы мне скажите, кто этих типов пускает на стадион?

Теперь вы понимаете, почему нужно стать болельщиком. Чтобы не отставать от жизни, чтобы не быть белой вороной на стадионе, в обществе и т. п. Следовательно, немедленно штурмуйте справочники, в которых о каждом футболисте есть все: от роста до веса, или идите к первому попавшемуся соседу и запасайтесь знаниями. Потому что, попав на стадион, вы обязаны (!) знать: сколько голов забил Бышовец, сколько — Серебро, почему не взяли в сборную Медведя, чем заболел Рудаков, при каких обстоятельствах травмировался Кириченко, откуда к нам пришел Боговик, какое хобби у Соснихина, что пьет Сергей Круликовский и женат ли уже Володя Мунтян? Если женат, то на ком и как на это посмотрел тренер.

Но знать только это — значит, не знать ничего. Вы должны заучить и этикет поведения болельщика на стадионе. Если вы уже начали ходить на стадион, то, разумеется, не для того, чтобы отсиживать там два академических часа. Стадион — это вам не университетская аудитория и не место для отдыха.

А как же болеть на стадионе?

По этому поводу тоже написано немало. Есть работы, достойные увлечения, есть просто серые, посредственные вещи. Одни авторы утверждают, что на стадионе нужно сидеть так, чтобы было слышно, как мяч летит от ноги Сабо и ударяется о штангу или объектив фотокорреспондента. Другие возражают, говоря, что на стадионе можно делать все, что угодно, потому что это не театр.

С этими товарищами и я соглашаюсь, хотя не совсем.

Действительно, стадион не театр. Но у них много общего. Идя в театр, мы смотрим на афишу. Идя на стадион — тоже смотрим на афишу.

Идя на стадион, мы покупаем семечки. Идя в театр — запасаемся тем же. Придя на стадион, покупаем программку, а потом спрашиваем у лоточницы, не найдется ли каких-нибудь граммов к бутерброду. То же самое в театре. Там и тут интересуемся: кто же сегодня играет? Будут ли Дмитрий Гнатюк и Володя Мунтян? Туда и сюда берем бинокли. Там и тут забываем плащи. Туда и сюда, как правило, опаздываем. Там и тут, как правило, на нас кричат: «Нагни голову! Да садись же! Чтوب ты уже камнем сел!»

Как на стадионе, так и в театре с верхних ярусов на вас бросают стаканчики из-под мороженого, конфетные обертки, надкусанные вафли, недососанное монпансье.

Как на стадионе, так и в театре вы можете подпрыгивать, вздыхать, свистеть, запустить на сцену или на поле помидор или протухшее яйцо.

На этом общность между театром и стадионом исчерпывается. Как у театра, так и у стадиона есть свои особые приметы. В театре, скажем, вас никогда не намочит дождь, если крыша своевременно отремонтирована. В театре не курят и не жгут газет. По окончании спектакля в театре не бегают по креслам, не перепрыгивают через головы зрителей.

У стадиона преимуществ значительно больше. Очевидно, именно поэтому преобладающее большинство любит стадион, а не театр. На стадионе прежде всего можно курить и жечь газеты, стрелять из ракетниц, трещать трещотками, дуть в кларнеты, флейты, трубы и другие духовые инструменты. Бросаться не только помидорами и несвежими яйцами, но и шапками (главным образом, не своими), кепками, кепочками, зонтиками, бутылками, но ни в коем случае — из-под кефира или молока: такие бутылки носить в сектор строго запрещено.

На стадионе можно размахивать руками, тушить папиросы о чужие колени или лысины, целовать бабушек, дедушек, девушек, юношей и походя давать чужим футболистам советы: «Ванька, поднимись, а то простудишься!» Или спросить у судьи: «Чего ты свистишь, дистрофик?».

К своим футболистам обращаетесь по-иному. Например: «Куда же ты бьешь, мазила?! Не видишь, что там штанга?».

Фольклор болельщика чрезвычайно разнообразен. Юмор также. На трех-четырёх страницах его не запишешь.

У стадиона есть и свои недостатки. В театре вы можете сказать вслух: «Разве же это игра? Эх, нет Дмитрия Милютенко. Тот играл, а это разве игра?..» На стадионе вы не можете даже так подумать. На стадионе вы должны выражаться так.

— Разве это игра? Разве это удар? Да учись, труп, у наших играть!

Вам все простят. Вас оставят в покое. Но не доведи господь выразиться вам на стадионе так, как в театре.

— Кто это сказал? — сначала дойдет тихо. А потом на ноту выше:

— Ты не видишь, кто играет? Тебе что, очки вставить?

И пошло, и посыпалось — сзади, сбоку, слева, справа, сверху! А какие тут термины роскошные звучат!

— Дай ему по штанге!

— Почему ты ему не заткнешь форточку?!

— Сделай ему «сухой лист»!

— Пусть закроет ворота!

— Натяни ему сетку.

— Объясни ему, как бить пенальти.

— Тресни его по угловою!

Так нужно болеть. Так и не иначе. А вы говорите: Гнат Юра. Тот играл — так играл. Да разве он может сравняться с Бышовцем!

Никогда.

КАК ПРОСЛЫТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОМ

Мы так теперь привыкли к интеллектуалам, что перестали удивляться и увлекаться ими. Очевидно, поэтому и воспринимаем их как должное, как что-то обычное, будничное. А между тем быть современным интеллектуалом не так уж и легко. Хотя некоторые товарищи заверяют, что интеллектуалом может быть любой, имеющий густую бороду, а также БСЭ, УСЭ или еще лучше УСЭС.

Я знаю многих, кто подписывается на «Вокруг света», «Всэсвит», «Иностранную литературу», «Знания та праця».

У некоторых есть даже «Людина та свит», альбомы с репродукциями Рембрандта, Ван Гога, Пикассо и картины Татьяны Голембиевской.

У других есть поэтические сборники — от Гарсиа Лорки до Алексея Ющенко. Но насколько мне известно, никто из них интеллектуалом не стал. Следовательно, в этом деле мало иметь в своей библиотеке Эрнеста Хемингуэя, Проспера Мериме, Уильяма Фолкнера, Джона Апдайка, Соммерсета Моэма, Агату Кристи или Юру Ячейкина. Необходимо к этому иметь еще и природное дарование. Потому что в противном случае даже при наличии подписной периодики и путеводителей по городам мира от Абакана и до Кривого Рога все

равно из вас интеллектуал не получится.

В наше время не обретешь славы интеллектуала, даже если прочтешь мемуары Михаила Рудницкого или речь Юлия Цезаря перед битвой с галлами. Чтобы прослыть интеллектуалом, нужно уметь блестяще оперировать приобретенным фактажом. Уметь подать свои знания так, чтобы никто не сомневался — дилетант ли вы или заумный схоласт.

Чтобы прослыть интеллектуалом, необходимо приобрести такой внешний вид, чтобы каждый посмотрел на вас и безошибочно сказал:

— Стопроцентный интеллектуал!

После этого вы должны посмотреть и на него. Но так, чтобы он сразу почувствовал ваше интеллектуальное превосходство, а сам себе показался ничтожным субъектом с претензиями провинциала.

Это одно из самых первых ваших требований. Второе требование — разговаривать о чем угодно, на любую тему нехотя, безразлично, так, будто между прочим, иногда цитируя то Спинозу, то Лукино Висконти, но ни в коем случае не ссылаясь на своего отечественного мыслителя, если он даже такого уровня, как Григорий Сковорода.

Во-первых, ссылаясь на своего, вы сразу

в глазах присутствующих с настоящего интеллектуала опуститесь до уровня обычного балаболки, а вскоре превратитесь в узколобого болвана. Во-вторых, кто-нибудь из присутствующих может бросить вам в лицо:

— Этих слов у Сквороды нет!

Попытайтесь ему возразить.

А он, зануда, возьмет да и полезет к стеллажу за томиком философа-демократа и тогда при всей этой публике вытопчет вас, как провинившегося шелудивого кота. Вам это нужно?

Другое дело мыслитель или деятель заграничный: Гегель, Бисмарк, Наполеон, Бернард Шоу или комиссар Мегре.

Если кто-нибудь и бросит вам эту пре небрежительную фразу:

— Такого у Бисмарка нет!

Или:

— Что-то я этого у Наполеона Бонапарта не встречал,— не отчаивайтесь. Помните: наступление — лучшая оборона. Удар противника немедленно парируйте своим ударом.

— Оно и понятно. А где вы могли встретить у Наполеона, если это фраза из его неопубликованных писем с острова Елены к тетушке Жорж Санд де Сика. Эти письма вы читали?

Пусть попробует, нахал, подтвердить или еще хоть раз за вечер разинуть свой с черным небом рот! Теперь берите быка за рога и делайте с ним, что хотите. Цитируйте Мюссе и Дугласа Скотта, Федерико Феллини и Лютса Бенюела, рассказывайте о жизни Джоан Баез и Моники Витти, Уильяма Сарояна и Джона Голсуорси.

Далее остановитесь на кинозвездах, начиная от Айседоры Дункан, Оливии Коул и кончая Марлон Брандо и Луи де Фюнесом. Не стоит трогать Софи Лорен, Брижитт Бордо и Джину Лолобриджиду.

— Это пройденный этап,— может кто-нибудь бросить реплику. А вот пусть попытается промырмить что-нибудь, когда вы начнете рассказывать о творческом пу-

ти Ванесса Редграйва или, скажем, биографию Акиро Куросавы. Можете затронуть биографии Эйсебио, Пеле, Джона Беста или Джачча. Футболисты — это тоже модно. Главное — детализируйте. Рассказывайте так, будто с каждым, о ком идет речь, вы выросли или сидели вместе на задней парте и задачки у него списывали.

— Когда Эйсебио впервые увидел настоящий футбольный мяч,— приводите вы подробности,— он зарыдал, как дитя. Его весь Гарлем успокаивал,— и тут же поясните:— Гарлем — это не то же, что гарем, товарищи. Гарлем — это значит негритянский квартал.

Если заметите у какого-нибудь пройдохы нахально-ироническую улыбку, не обращайтесь внимания на мелочи. Возможно, кто-нибудь из присутствующих неожиданно ляпнет:

— А вспомните нашего Анатолия Бышовца, когда его пригласили в Австрии на телестудию...

Немедленно сделайте такое выражение лица, будто вы хотели выпить свежее яйцо, а там оказался невылупившийся цыпленок. Ни за что не оперируйте своими. Повторяю, это одно из основных требований. Не сбивайтесь на Агатангела Крымского или Лесю Украинку, не ссылайтесь на Драгоманова или на Ивана Труша. На вас сразу махнут рукой и никогда не признают за вами право носить гордое имя интеллектуала.

Если вы решили удивить присутствующих своими знаниями по истории, не вздумайте рассказать им о том, что Киево-Могилянская академия в свое время была центром просвещения всего славянства, а дочь Ярослава Мудрого Анна вышла замуж за короля Фрэнции. Это, как вам скажут, типичное не то. Другое дело — Людовик XIV. Его жестокость и чудачества. Или хитрый и заискивающий кардинал Ришелье, Версальский замок, Елисейские поля, Лувр. Что вы там еще знаете?

Эльзас и Лотарингию? Этого достаточно. Можете перейти на Рим. Или вернуться назад в Париж и проехаться по Сене. О ее берегах рассказывайте с таким увлечением, будто там промелькнуло ваше детство. Но ни в коем случае в своих рассказах не вдавайтесь в аналогии. Скажем, так:

— Ну, Сена точно как наша Спивода, если кто был на Винничине.

Считайте, что все ваши претензии на пост интеллектуала вы сами растоптали собственным сапогом. Упреждаю вас от таких параллелей.

Если случайно (а может, и наоборот), вас спросят, что вы теперь читаете, не ляпните сгоряча:

— Да что-то потянуло на новеллы Стефаника.

Или:

— Решил перечитать Гоголя!

Вас пронзят и испепелят удивленные глаза!.. Ответ в этом случае единственный:

— Пьера де Бюше и Агату Кристи.

Можете назвать Фридриха Санкюнста или Поля-Жана Папастеля, но ни в коем случае Григора Тютюнника или Романа Андрияшика. После этого так, будто между прочим, добавьте:

— Кстати, вы знаете, как работает Агата Кристи? — И, не дожидаясь ответа, ведите дальше: — Она голой залазит в ванну. Слева кладет в череп неандертальца яблоки (разумеется, не Смиренко), в правую берет ручку и пишет. Пером страуса эму.

Может случиться, что кто-либо из присутствующих тоже захочет удивить обще-

ство. Ну, к примеру, расскажет о последнем атамане Запорожской Сечи Калнышевском, который просидел в яме до 113 лет и отказался от «воли», когда узнал, что Сечи уже нет. Или скажет:

— А ты знаешь, как работал Степан Руданский, когда отец отказался ему помогать, потому что тот писал «мужицким языком»!

Собеседник может и не продолжать. Скорчите пренебрежительную мину шимпанзе, и пусть он замолчит со своим Руданским! Ибо Руданский — это не эпоха, как и Татьяна Ларина со своими Ленским и Онегиным. Они для вас вчерашний день, как и «Тарас Бульба» с «Мертвыми душами», и стыдиться этого нечего.

Поэтому обложившись Дороти Сейерс или Эрлом Стейнли Гарднером, не мигая глазами, спрашивайте:

— Посмотри, пожалуйста, в словарь, как правильно писать: фоникулер или фаникулер?

Если вам неожиданно бросят в лицо:

— Жоржа Сименона читаешь, знаешь, что есть Луи де Фюнес, и спрашиваешь, как писать... Так вот знай, что не «фа» и не «фо», а «фу»: фу-ни-ку-лёр.

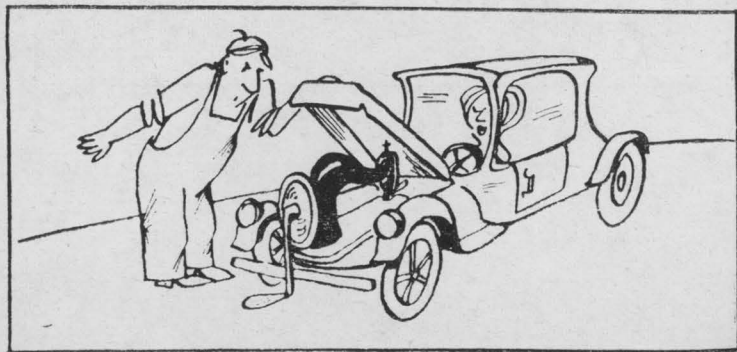
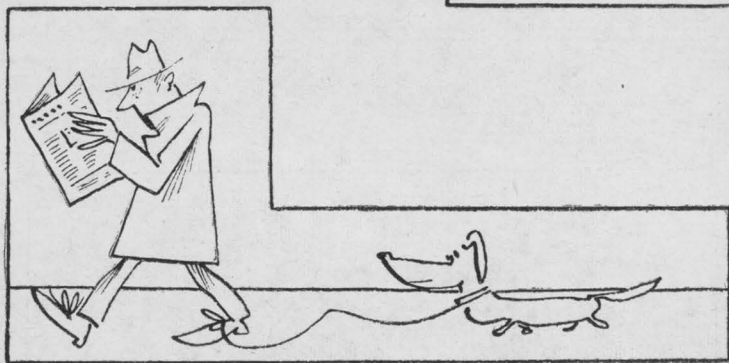
Не обращайтесь внимания на невоспитанных ничтожеств.

Разве им понять глубину вашей интеллектуальной души, разве им охватить диапазон ваших знаний? Да никогда, если они до сих пор увлекаются «Героем нашего времени» и читают «И мертвым, и живым, и нерожденным...».

(Перевод с украинского
И. ДРЕЙЦЕРА)

ИЗОШУТКИ

Леонида
Левицкого





СОДЕРЖАНИЕ АЛЬМАНАХА „ОГНИ КУЗБАССА“ ЗА 1972 ГОД.

К 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

- А. БЕРЕЖКО. Горная Шория, год 1922-й, № 1.
А. ТРОИЦКИЙ. Узы братства. № 1.
Из шорского фольклора. Перевод Геннадия Сысолятина. № 4.
КУРМАН ДОГУЖЕВ. Старый горец. Горец-горожанин. Перевод с дагестанского В. Баянова. № 4.
ГЕОРГИЙ КОШКИН. Сепсель. Перевод с чувашского М. Небогатова. № 4.
ДУШАН ФАЙЗИ. Карандаш. АБДУЛЛА НУРИМОВ. Девушке-казашке. Перевод с узбекского В. Качаева. № 4.

СТИХИ

- ЛЕОНИД БЕРЕЗИН. По Тайдону. Зубчатая гора. № 2.
ДМИТРИЙ ГЛАЗОВ. Стужа. Октябрь. № 2.
СЕРГЕЙ ДОНБАЙ. Прелесть смысла. Доброе утро. № 2.
ВАЛЕРИЙ ЗУБАРЕВ. «Сопят кусты, улитка строит рожки...», «Пью жадно газировку у киоска...». № 2.
ИГОРЬ КИСЕЛЕВ. Вступление. Казашка. Молитва лани в Алма-Атинском зоопарке. № 3.

- ГЕННАДИЙ КОЛЕСНИКОВ. «Когда я напишу свой лучший стих...», «За моими плечами...». № 1.
НИКОЛАЙ КОЛМОГОРОВ. «Проснешься утром... что откуда!», «Встанешь. И только руки в воде...». № 3.
ГЕННАДИЙ КРАВЦОВ. Из детства. Дождь в Париже. № 2.
ВАЛЕНТИН МАХАЛОВ. Онега, «Зимний кижуч идет...», «По лукавой тропинке...». № 4.
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВСКИЙ. «Знаете, будет...», Летчик, бомбивший Хиросиму. № 3.
ЛЮБОВЬ НИКОНОВА. Тир. Родное. № 3.
НИКОЛАЙ ПИСКАЕВ. Проводы. «Когда б стихи мои...». № 2.
ВЛАДИМИР ПОТАШОВ. «Далекая мальчишеская быль...», «Какое счастье...». Вечеринка, «Кого винить...». № 1. «Колода дров...». № 3.
АЛЕКСАНДР РОДИОНОВ. «Две недели подряд я живу в Конюховке...», «Не надо камней сторониться...», «Загорели мы с тобой...», № 1. Метеорит. «Лист осины пылает...». № 3.
СТЕПАН ТОРБОКОВ. Чел айы — февраль. № 3.
АНАТОЛИЙ ШИШКИН. Окна фабрики. Моя прямая. № 3.

ВИКТОР ЧУРИЛОВ. На родине. Мальчишки. № 2.

ГАЛИНА ЮРЬЕВА. «Будто три золотых покрывала...». № 3.

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

СУЭМАС О'САЛЛИВАН. Флейтист. УИЛЬЯМ ГЕНРИ ДЕИВИС. Досуг. ДЖОН ХИТ-СТАББЗ. Бездомный поэт. Перевод с английского Сергея Сухарева-Мурышкина. № 2.

ПОВЕСТИ

ВИКТОР МОИСЕЕВ. Ярыгин камень. № 4.
ОЛЕГ ПАВЛОВСКИЙ. Тайна крестовины, или Мрассу — желтая река. № 2.
ВИКТОР ЧУГУНОВ. Рубиновый материк. № 3.

РАССКАЗЫ

ВЛАДИМИР ВЛАСОВ. Один за всех. № 1.
ЕКАТЕРИНА ДУБРО. Серая нежность. Мария. № 1. Апельсиновое солнце. № 3.
ЮРИЙ ТОТЫШ. На шурфе. Буза. № 2.

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ

А. ГУКОВСКИЙ. Высокое давление. № 2.
ИГОРЬ КИСЕЛЕВ. Перед второй книгой. № 2. Весенний традиционный. № 3.

ПРОБЛЕМА?... ДА, ПРОБЛЕМА

П. ВОРОШИЛОВ. Будних дней черновика. № 2.
М. Г. ЕЛЬКИН. Четверть века с юными историками. № 4.
Е. ПОПОВ, В. ЧЕРЕПАНОВ. Таштагол: рождается шахта будущего. № 1.
Н. СПИРИНА. Преданность заводу. Откуда она? № 4.

ВРЕМЯ — ЧЕЛОВЕК — ВРЕМЯ

А. ДУБРОВСКИЙ. Судьба рудознатца. № 2.

М. РЫЖКОВ. Самсоныч. № 4.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПАМЯТИ

Р. ЛОБАНОВА. Солдатское поле. № 1.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ...

АНАТОЛИЙ БЕЛЬЧИК. Мои друзья живут в Нограде. № 3.
ОЛЕГ ПАВЛОВСКИЙ. Сказка моего детства. № 4.
ВИКТОР ЧУГУНОВ. В Калининграде московское время. № 1.

ПРОШЕЛ... УВИДЕЛ... РАССКАЗАЛ...

ГАРИИ НЕМЧЕНКО. Маленький рябчик. Жадюга. № 4.
МАВРИКИЙ РЕЗНИК. Ошибка разведчика. Следы на воде. Сорока-воровка. № 3.

ИСКУССТВО

З. ЕСТАМОНОВА. Две выставки. № 3.

СЛОВО — КРИТИКЕ

А. АБРАМОВИЧ. Мир сокрушает, мир создает. № 1.
В. КОНЬКОВ. «Шестая гряда». № 2.
А. ПОЛИКАНОВ. Марьевская муза в рубочей спечовке. № 4.
ЛЕОНИД ХАНБЕКОВ. Направление поиска. № 3.

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

И. КОЛМАКОВ. Просьба. Находчивость.
Жар-птица. № 1.

ГАЙНЦ ЛАУКНЕР. Глупые вопросы.
Ф. ЦЛИНИСКАЙТ. Феникс. КУРТ БИН-
ДЕР. Рассеянность. Ф. НАХТИГАЛЬ.
Все в порядке. Перевод с немецкого
ВАДИМА НАЗАРОВА. № 3.

ЮРИЙ СОЛОМОНОВ. Однажды... № 3.
Ох, уж этот Колготкин! № 4.

О. ЧОРНОГУЗ. Почему необходимо стать
болеельщиком. Как прослыть интеллекту-
алом. Перевод с украинского И. Дрей-
цера.

НОВАЯ ПЕСНЯ

Земля моя родная. Муз. ГЕОРГИЯ ГРИ-
ГОРЕНКО. Стихи ВАЛЕНТИНА МАХА-
ЛОВА.



1957 год. Угол Весенней и Красноармейской



1957 год. Одна из первых новостроек на Весенней — школа № 62



Гостиница «Кузбасс»



Школа № 62 сегодня

Цена 39 коп.

КЕМЕРОВО 1972